

http://knleontiev.narod.ru/texts/ispoved_muja.htm

[Константин Леонтьев. Произведения: http://knleontiev.narod.ru/articles.htm](http://knleontiev.narod.ru/articles.htm)

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ

Исповедь мужа (Ай-Бурун)*

(Посвящается немногим)

1850, май. Ай-Бурун, на южном берегу Крыма.

Слава Богу, я не беден! Морской ветерок веет в моем саду; кипарисы мои печальны и безжизненны вблизи, но прекрасны между другой зеленью. По морю тихо идут корабли к пустынным берегам Азовского моря... Паруса белеют вдали. Я с утра слежу за ними. Они выходят из-за последних скал громады, которая отделила нас от Балаклавы; а к обеду они уже скрылись за мысок, где растет столько мелкого дуба и где я один гуляю по вечерам. Чего я хочу? я покоен. Никто не возьмет моих кипарисов, моего дома, обвитого виноградом; никто не мешает мне прививать новые прививы и ездить верхом до самого Аю-Дага и дальше... Да! я покоен. Здесь хорошо; зимы нет, рабства нашего нет. Татары веселы, не бедны, живописны и независимы. Общества здесь нет — и слава Богу! Я не люблю общества, на что оно мне? Успехи? они у меня были; но жизнь так создана, что в ту минуту, когда жаждешь успеха, он не приходит, а пришел, — его почти не чувствуешь.

Когда я один, я могу думать о себе и быть довольным; при других, как бы хорошо со мной ни обращались, мне все недостаточно. Разве бы триумфальное вступление в город при криках народа, в прекрасную погоду, на лошади, которая играла бы подо мной, и не в нынешнем мундире, а в одежде, которую я сам бы создал и за которую женщины боготворили бы меня столько же, сколько и за подвиги мои; боготворили бы и шептали: «зачем мы его не знали прежде, когда он был молод!» Это я понимаю. Иначе о чем заботиться? Не лучше ли следить за медленным бегом кораблей отсюда и думать: «Везде люди! везде они борются и спешат. А я не борюсь и не спешу! Вам на палубе жарко, а в каюте душно, а мне прохладно и под этой смоковницей, которая растет так пышно, и в кабинете моем с разноцветными окнами!» Гораздо лучше.

Да, кстати о стеклах. Я люблю иногда по очереди глядеть то в желтое, то в синее, то в красное стекло, то в обыкновенное белое, из моих окон в сад. И вот что мне приходит в голову: отчего же именно белое представляет все в настоящем виде? В желтом стекле все веселее, как небывалым солнцем облита и озолочена зелень сада; веселье доходит до боли, до крика! В красное — все зловеще и блистательно, как зарево большого пожара, как первое действие всемирного конца. Не знаю, в которое из двух, в синее или в лиловое, — все ужаснее и мертвее: сад, море и скалы; все угастро и оцепенело... Так ли мы видим все? И почему мы думаем, что мы именно правы? что деревья зелены, заря красна, скала черна? Никем невиданный эфир волнуется в беспредельности; его размеренные волны ударяют в нерв глаза... Но что такое нерв? Проводник электричества до ячейки? Но что такое электричество? Но что такое ячейка? И кто поклянется, что стенки ее, не шутя, уже без ткани и что в недрах ее не кипит бездонная пропасть жизни? И тем более, почему мы думаем о нравственных предметах с такой самоуверенностью? Почему человек должен жить в обществе? Почему здравый смысл в этом деле здрав а не повальная ошибка? Ведь мы смотрим на средние века как на безумие веры, а ХХI век не взглянет ли на наш как на безумие положительности, здравого смысла и пользолубия? Был же один человек (Дальтон, кажется), который не видал никогда никаких красок, и весь ландшафт вселенной был для него непокрашенной гравюрой. Почему же он не прав? Потому что не так, как все? Да и Сократ был не так, как все, и Авраама соседи, верно, считали безумным, когда он ушел от отца, чтобы развить единобожие!

О! Боже! Боже! Тебе, великий творец наш, угодно, чтобы было так! И если благодарность земного червя Тебе слышна... о! как я благодарю Тебя и за покой, и за скалы эти, и за виноград мой, и за мою смоковницу!

1852, 15-го июля. Там же.

Там же! Там же! Какое счастье! Я потерял счет однообразным дням. И если бы мне не сказали вчера, что сегодня 15-е июля, я бы забыл, что это мои именины. Было время, когда я не был один! Было время горя и радостей! Все уснуло! Люди в гробах на разных концах России; над забытой могилой не служат и не плачут родные. Где у нас молиться! все бегут в разные стороны, и не отыщешь родной гробницы! Велю себя здесь похоронить, над мысом перед дубовой рощей, и чтобы огромный каменный крест простирал объятия к морю и кораблям, которые медленно бегут вдали. Зачем? Зачем? Кто придет на эту красивую могилу? К дерновому валику над телом бедной тетки в глухом русском селе все, быть может, прокрадется молодая племянница или добрый племянник-офицер велит отслужить панихиду и скажет: «Бедная тетушка! помню, как ты певала надо мной по зимним вечерам: „котик беленький, хвостик серенький, приди Волю покачать". Ах! голубушка ты моя родная!», и зальется святыми слезами, забыв и карты, и буйство, и чины, и любовниц! И прибредет гордый грошовым знанием студент, и тот зарыдает, когда русский поп скажет: «упокой Господи душу...» А над моей красивой, нерусской могилой кто прольет хоть одну слезу? Татары? Они добрые соседи — они честны; они всегда были свободны и не только к своим дворянам, они и ко мне подходят с доверчивой улыбкой. Но что же я могу им сделать? Чем могу осчастливить их? Просвещать по-нашему? Избави Бог! Это ужасное посягновение на жизнь мирную и молодецкую. Освободить свободных я не могу, как мог бы освободить русских рабов, от которых бежал сюда. За что же мохамедане будут вспоминать обо мне, глядя мимоходом на мой величавый крест?

17-го июля.

Да, здесь все прекрасно: море синее, небо голубое, белые паруса таинственных судов, рисунок строгих скал, облака розовые и белые, которые ползут у плоских горных вершин по темным полосам далеких сосновых лесов; холмы свежей виноградной зелени, яркие одежды татарок и татар, пустые замки, а хижины, как гнезда, и над головой путника, и под ногами у дороги... Да! все здесь прекрасно! Но во всем нет для меня здесь той музыки, того плача и стога, который тихо носится по сырым и горьким полям нашим! О, когда бы чем-нибудь согреть мне душу посреди этой роскоши неба и земли! Не мог согреть, не мог один! Но ты бежал от горя и радостей, безумец! Зачем же ты призываешь их? Зачем? Зачем я умираю от полноты душевной? Вчера я плакал, лежа ниц лицом на траве, сегодня я сломал толстую трость о деревья вдребезги... в самые мелкие щепки...

Иногда я думал, нельзя ли окрестить дочь моего приятеля Мустафы-Оглу или самому стать мусульманином? Она бледна и черноброва; бархатная шапочка; русые косы на спине; платочком подпоясана; взгляд добрый — я ее ребенком знал. Читает Коран у окна и от меня не прячется. Какой избыток любви в бесполезной душе — любви чистой, бескорыстной, родительской любви!

20-го июля.

Конечно, я бы мог жениться. Не далее, как в Ялте есть молодая девушка. Я очень люблю, когда она в розовом холстинковом платье качается на большом кресле. Она небогата; русская; глаза у нее игривые, темные; щоки нежные и румяные; стройна; к музыке способна; умна. В комнатах у них много цветов; почти под окнами кипит море; чай она делает прекрасно, масло свежее; мебель скромная. Раз кто-то играл на гармонии, а солнце садилось за горами; она качалась, а я смотрел на нее — и думал... Я выходил от них не раз умиленным и возвращался с радостью. Так мирно и сладко у них! Дочь шьет, мать шьет, отец вздыхает; часы, и те без звука идут и бьют глухо... Какая она хозяйка! Как шьет все сама! Какие дельные книги читает и как мила, кудрява, молода!.. Но у них много родных, и все недалеко отсюда. Я перестал ездить. Да и стар я и душою и на лицо; жаль губить девушку; жаль соблазнять садом, кипарисами, мраморными ступеньками, коврами. И недостало бы у меня никогда жестокости оторвать ее от родных и друзей, — так пусть хоть достанет твердости удалиться. Теперь я почти дух; я не дворянин, о чине своем никогда не слышу; едва ли изредка слышу имя и отчество. А с ней и с родными вернулось бы все. Надо платить иногда тоской за свободу!

1-го сентября 1853. Аи-Бурун.

Вчера я получил письмо от Катерины Платоновны С***, моей двоюродной сестры, которая была замужем за итальянцем. Не знаю, как ее назвать, — странная женщина или бедная, или счастливая женщина? Муж ее был красавец и буян; он прожил все ее имение, был на нашей службе и убит три года тому назад на Кавказе; она осталась в бедности с пятнадцатилетней дочерью. Присутствие ли этой дочери возбуждает ее силы, или она рождена так, во всяком случае, она строит такие широкие планы, которые бы многих испугали. Она знает мой Аи-Бурун и предлагает мне предпринять вместе дело: настроить

домиков по саду и долинкам, завести водолечебное заведение, купальни морские, гимнастику и открыть гигиенический пансион для слабых детей. Она будет директрисой этого училища.

Дети будут и учиться, и купаться, и здоровье укреплять, и привыкать к хозяйству. Мы будем им показывать полезные травы; они будут работать; они будут счастливы, честны, богобоязненны и свежи. Хорошая мысль! И на это дело я должен положить, по ее расчету, всего тысячи три. Понемногу, говорит она, заведем все.

«Вы, — пишет она, — нашли бы, наконец, случай приложить к делу ваши познания, вашу небесную (!?) доброту; ваше одиночество и бездействие погубят в вас все живые начала, которыми так щедро одарил вас Бог».

Бедная! (как же не назвать ее теперь бедной?) она льстит мне, чтобы заставить меня войти в ее планы. Если б моя доброта была так небесна, я бы не продал своих крепостных крестьян Бог знает в какие руки, чтоб избавиться от них и купить эти кипарисы, этот берег, эти безответные камни. Но пусть я добр, — только с чего она взяла, что я решусь наполнить мой сад детьми, которые будут кричать, ссориться, лениться, своенравной прислугой, родителями, которые будут приезжать и любоваться на своих детей? Если бы даже это дело дало нам после десятки тысяч дохода, так я за эту цену не продам свою свободную скуку!

2-го сентября 1853.

Однако надо бы ей помочь. Я люблю женщин, которые любовью испортили свои дела. Покажу ей, что она не ошибалась, когда назвала меня добрым. Пошлю ей 500 рублей? Нет! больше пошлю; разочту средства и пошлю больше. В Малую Азию или опять в Вену хотел съездить? Не съезжу. Тем лучше!

А ведь в доброту нельзя не верить: она единственная вещь несомненной цены, и для той и для другой стороны. Шевелит так сладко, когда подумаешь: «У нее и кофе не на что было купить вчера; на дочери рубашки порвались; прислуга уже грубит». И вдруг с почты объявление — 500 рублей. Нет, 800! Это еще лучше, еще веселее!

25-го сентября того же года.

Я наказан за порыв. Катерина Платоновна заплатила долги, оделась, одела дочь и приехала сюда. Она хочет обратиться к княгине К*** (которой белый дворец с башнями в шести верстах от меня) с просьбой выхлопотать ей казенное пособие и землю для идеального училища. И вместе с тем благодарить меня!.. Слава Богу, она остановилась в городе.

30-го сентября.

Был в городе. Ездил верхом и заехал к ним. Кроткая, милая женщина. Мне нравится даже ее сентиментальность и простодушная риторика ее речей. Дочь хороша. Жалко! Пригласил их к себе, пока ей надо хлопотать у княгини. Княгиня обошлась с ней грубо. Та приехала на татарской телеге, насилу добралась к вечеру; сошла с горы вниз в сад, одна по незнакомой дороге, в темноте; а княгиня выслала ей сказать, что сегодня

принять не может. На южном берегу в 25 верстах от города! в 10 часов вечера! Катерина Платоновна поднялась в гору без провожатого, отыскала татарскую деревню, ночевала там и на другой день ее еще заставили ждать до полудня. Княгиня велела ей написать свой проект, и я, хотя и не верю в успех, взялся помочь ей. Пусть поживут у меня пока: и к княгине ближе, и даром.

15-го октября.

Княгиня обещала хлопотать. Катерина Платоновна мне нравится теперь. Лиза (дочь зовут Лизой; славное, доброе, русское имя!) занимает меня игрой на рояле и пением... Мне нравится также, что у нее углы глаз наружные опущены книзу, глаза мрачные и глубокие. Дай Бог ей счастья! А мать не рассказывает в своем прошедшем. «И я, говорит, рвала розы без шипов — было время!» К ней эта чувствительность идет. Привычка к зависимости от чужих оставила навек на добром лице ее любезную улыбку; за обедом она на маленький кусок хлеба, который нежно отложила, смотрит с чувством, и стакан квасу, который скромно налила, она не подносит спереди прямо ко рту, а обернется вбок и как бы спешит сама вежливо навстречу. Что ж, это оригинально! Вчера Катерина Платоновна рассказывала мне много про Лизу. Она, по ее словам, друг слабых и гроза притеснителей. Рассказывала, как Лиза разбила большую алебастровую куклу об любовницу отца, которая вздумала грубить матери. Отец хотел ее высечь. Она не скрывает от меня поведения своего покойного мужа; она видит, что я без того все почти про них знаю; может быть, даже она думает, что я слышал об нем хуже, чем было, и часто повторяет: «несмотря на все эти пороки, в нем было столько души и благородства!»

И в самом деле, что за заслуга любить хорошего человека? То ли дело, вопреки всем, любить порочного, но обворожительного!

Пока мы с ней толкуем о пансионе, Лиза сидит с моей старой Христиной, и отсюда слышно, как они громко смеются. Дом мой оживился, и слуги стали веселее. Мать боится, чтобы Лиза не вышла слишком груба: «Посмотрите, какие у нее волосатые, сильные руки, какой толстый голос! Как она скачет на всякой лошади и с камней бросается в море плавать. Душа у меня замирает!» Я ее утешаю. Я думаю, что расти Лиза больше не будет; она стройна; голос, правда, иногда немного груб; но зато каким она поет контральто! Вчера я еще слышал из дубовой рощи, как она пела:

Друзья! молодость наша не вечна!

Славный Орсини она могла бы быть на сцене. У нее красивый тонкий нос и лицо продолговатое. А глаза мрачные — чудо!

7-го ноября.

Княгиня уехала в Петербург. Я пригласил Катерину Платоновну остаться до весны. Зачем ей ехать? теперь там грязь и снег. Пусть отдохнут. Я к ним привык. Она предложила было мне смотреть за моей провизией — нашла, что у меня много выходит. Но я не хочу, чтобы люди не любили их. Пусть лучше еще больше выходит; другие тратят на театр, на карты, а я хочу, чтобы все у меня в доме друг друга любили. Они остаются. Или быть одному, или чтобы все друг друга любили.

10-го ноября.

Катерина Платоновна сокрушается опять о том, что Лиза слишком храбра и сегодня ушла одна на горы в лес. Я говорил ей, что мужу смелая жена приятна, что нет ничего хуже женщин, которые кричат дорогой и с которыми страшно отойти погулять далеко от дома. «Муж! Кто ее бедную возьмет?» — воскликнула Катерина Платоновна. Я не отвечал и сам подумал: *кто?* и вспомнил о цветных стеклах. Вся беда оттого, что на одно заведено смотреть в белые стекла, а на другое заведено смотреть в синие. И смотрят все!..

В самом деле — женихов разных очень много. Но я бы не желал, чтобы Лиза вышла за мелкого чиновника или за бедного учителя в старом фраке. А из богатых редкий возьмет; многие побоятся уже того, что она дурно и мало говорит по-французски. И если б нашелся обеспеченный, привлекательный и умный молодой человек из *нашего* общества, так ему надо оценить ее, сблизиться. А где встретить? где сблизиться, где найти случай открыть те прекрасные семена, которые, я уверен, зарожжены в ее сердце?

Но есть совсем, совсем другой мир, о котором и не думают, благодаря стеклам. Например, у управителя в Сегилесе есть сын. Он вольноотпущенный, обучался садоводству в казенном саду, неглуп, пишет с небольшими ошибками, знает кое-что из ботаники, красив — настоящая русская кровь с молоком, 21 год, ловкий, глаза синие, сердце хорошее. Я его знаю: не раз вместе ездили верхом на Яйлу и в нагорные сосновые леса. Он наблюдателен и делает очень приятные замечания. «Видите, здесь наверху только теперь пион расцвел, а внизу давно отцвели. Много ли проехали, а климат другой». От него я узнал, что большие розовые цветы, которые здесь летом в таком множестве распускаются по необработанным холмам, называются *Cistus tauricus*; «это, говорит, с черными кисточками — *Melia Azederach*, а это дерево хвойное из Японии: *Salisburia Adiantifolia* или *Gincko biloba*; сразу совсем и не похоже на хвойное, а оно хвойное».

Разумеется, сидя в петербургском кабинете, читать в книге эти имена тяжело. Но я люблю сочетание природы и науки, когда гуляю в казенном саду, где собраны деревья из Италии, Японии, Китая, Африки, Кавказа, или когда в тишине поднимаешься по нагорному бору, и сквозь сосны, вдали, мелькает море с каймой немой пены у берега. Вообразим же себе, что они обе — и мать, и дочь, решились посмотреть в другие стекла. И вот в соседстве белый домик с плющом и виноградом, маленький дом, каких здесь много; он получает хорошее жалованье у какого-нибудь вельможи за садоводство; в доме чисто (у отца его, я знаю — чисто), воздух кругом дивный; она вечером на крыльце поет: «Друзья! молодость наша не вечна!» Дети растут... Да я бы с радостью своих дал две-три тысячи ей на приданое. Это эгоизм своего рода. Я люблю прекрасное. Если бы они и поссорились между собой... так что ж? Это забавно, а не грустно. И разве у нее такие высшие потребности ума, чтобы она искала товарища для мысли? Нет! Что же мешает? Стекла, стекла и стекла! А я и предложить этого не смею ни матери, ни дочери, хотя знаю, что это могло бы устроиться. Для Алеши это было бы неожиданное счастье; он, когда они еще жили в Ялте, встретился мне на дороге и спросил: «Кто это такая славная барышня приехала в город? Красотка!»

Как? Дочь полковника и образованная девица выйдет за вольноотпущенного садовника? Да поймите вы, если этот вольноотпущенный образован несколько не менее вашей дочери? (Лиза делает много орфографических ошибок и вообще знает мало; мать

учила других, а ею заняться, при своих разъездах и хлопотах, не имела ни времени, ни умения.) Она знает по-итальянски и немного по-французски, а он по-татарски и по-немецки немного. А будь он не садовник, отдай его отец в гражданскую службу и стань он губернский секретарь и вместо синей блузы надень форменный фрак — был бы жених в минуту крайности... Волос дыбом становится!

А мне на милую и возможную идиллию было бы отраднее смотреть, чем на других моих соседей. Например, хер Зильхмиллер — управитель г. Ш-ва, румянится, носит то розовый, то голубой галстук; красит усы; женат на зубатой англичанке; бьет дворовых, читает Дюма и Поля Феваля и мне советует прочесть «*Les crimes célèbres*».

— Вы, — говорит, — увидите всю человеческую черноту.

— Я, — говорю, — и без этого ее вижу.

11-го ноября.

Соберусь с духом и попробую поговорить. Не знаю, с кем бы прежде, с дочерью или с матерью? Я думаю, прежде с Лизой. Что же они мне сделают за это? Ничего. Первые слова только тяжелы, а потом я разовью свой взгляд. Или не поговорить ли прежде с Алешой? «Что, Алеша, если бы я дал за этой девицей две тысячи, ты бы женился на ней?...» Посмотрим, что будет!

13-го ноября.

Алеша сгорел, когда я сделал ему тот вопрос. «Вы шутите, — говорит. — Где нам!» Не только лицо, уши,

шея — все покраснело! Я сказал: все возможно, когда Бог захочет. А он: «Бог захочет, да люди не захотят». Ведь какую великую мысль нечаянно сказал! Если уже сметь придавать высшему существу наши свойства, так я бы скорей всего решился придать ему неизмеримое, полное чувство прекрасного.

А прекрасное бывает трех главных родов: красота живописная, пластическая; красота драматическая, или действия, и красота чувств, или музыкальная. Здесь было бы все. Горы, море, сады и леса; собственная красота лиц; красота их добрых, радостных чувств; красота предварительной борьбы с сословными неудобствами. Да! это один из главных моментов красоты — сословное неравенство. Будь они равны друг другу — дело утратило бы полцены.

Все, что я говорю, не совсем согласно с философией здравого смысла. Один мой прежний знакомец, ученый и дельный человек, говорит, что для философии м!роздания здравый смысл никуда не годится, но для философии жизни он одно спасение. Нет правила без исключений; я здесь, в горах, удалился от жизни и приблизился к м!розданию.

14-го ноября.

Мы с Лизой ездили сегодня к обедни. Катерина Платоновна нездорова. Лиза еще очень дика. С ней говорить трудно.

6-го января 1854.

Что за день сегодня! Я ездил утром верхом. Море бледно-фиолетовое и как зеркало. Тишина. На шоссе холодно, на Яйле снег, а внизу в садах как майский день в России. Я встретил в своей роще татарку, которая сбирала хворост. Она из бедной семьи, но здесь и бедность не страшна. Что за мир, что за живое забвение! Какие слова изобразят то, что я чувствовал? Только прекрасные стихи могли бы сравняться и с природой этой, и с тихой жизнью здешних людей, и с тем ощущением восторженного покоя, которым я упивался сегодня, когда лошадь моя то осторожно опускалась с камня на камень по высохшему руслу ручья, то бежала с горы на горку по гладкой дороге. Какое счастливое сочетание диких картин с изящными следами просвещения! Здесь надо мной сосна поднялась из голого камня и на такой отвесной громаде, что смотреть на нее от подошвы трудно, а у подножья этого гигантского камня шоссе; а прямо с шоссе один шаг в поблекший на зиму цветник и на чистый двор готической дачи. Иные деревья в саду оброняли листья, а другие — лавр, кипарис и лавровишневый куст зелены как летом. К ограде, по которой сам собою ползет плющ, привязаны две прекрасные оседланные лошади. Высокая девушка в легком платье гуляет с книгой между миртами. Еще шаг — и дача волшебным образом скрылась за куполом черной сланцевой скалы, округленной, как хребет скорченного зверя. Страшные глыбы серых камней в вековой неподвижности как бы катятся с гор в море. Татарка на плоской крыше стелет ковер; из трубы дымок; красный перец висит у дверей... Аулы тонут в зелени... Нет, один Пушкин достоин был этой жизни...

Кто видел край, где роскошью природы

Оживлены дубравы и луга,

Где весело синеют, блещут воды,

Роскошные лаская берега;

Где на холмы, под лавровые своды

Не смеют лечь угрюмые снега?

Все живо там: кудрявых рощ прохлада,

В тени олив уснувшие стада,

Вокруг домов решотки винограда,

Монастыри, селенья, города,

И моря шум, и говор водопада,

И средь валов бегущие суда.

Мне было очень досадно, когда я давеча вышел в гостиную и застал у дам Маринаки. Он опять стал чаще ездить!

Сначала (не с самого начала, когда я никого не хотел видеть, а на второй год) я немного сблизился с ним. Странно! Склад его ума и род его образования не внушают доверия, а характера он хорошего и, кажется, честного. Я тогда мало знал Крым. Когда он мне говорил, что на северном склоне Таврического хребта, тенистом и прохладном, были колонии готов и что в Мангун-Кале жил их герцог, побежденный и убитый турками, приводил, не помню как, по этому поводу «Слово о полку Игореве» и половцев — все мне казалось, что он выдумывает. С удивлением узнал я потом, что в его словах было много правды; конечно, он не учен, не археолог и мог ошибиться в частности, но ведь и ученые оспаривают друг друга и обличают друг друга в ошибках. Одним словом, он оказался гораздо правдивее, чем я ожидал. Но что бы вы подумали о человеке, который никогда из своей губернии не выезжал, который и говорит тихо, и глядит томно; тихо и томно волочится за женщинами, носит щегольское платье и стриженные бакенбарды, страдает всегда грудью и спинным хребтом, проводит дни за французскими романами в большом кресле, пишет сам, наконец, и говорит: «У меня написано во всяких родах столько, чтобы запрудить на два года все периодические издания; но редакторы хитры, я боюсь их; они ценят имя автора, а не достоинство вещи». Напечатал на свой счет в Харькове роман под заглавием «Глухое горе» и раздает его даром кому угодно. Я прочел. Изысканный язык и ничего живого. «Этот нравственный эмбрион»; «пошлая кратность светских отношений». Множество французских, татарских и греческих слов без нужды.

Однако он ровного характера и добр, я имею на это доказательства; не то, чтобы необыкновенно добр, а добр, как многие, и женщина невзыскательная могла бы с ним ужиться. Мы приелись друг другу во время путешествия и все реже и реже стали видиться. Кажется, его привлекает сюда Лиза. Но он ей не пара.

9-го января.

Катерина Платоновна не совсем моего мнения. Она как будто считает Маринаки и опасным обольстителем, и выгодным женихом. Он, надо отдать ему справедливость, ездит сносно верхом. Вчера велел привести из города лошадь и пригласил Лизу прокатиться. «Я не могу тридцать верст ехать верхом, — сказал он ей чуть слышным голосом, — приехал в пролетке; и лошадь моя и я к вашим услугам». Лиза согласилась, посмотрела на мать и пошла в конюшню. Я недавно подарил ей славную лошадку. Я вышел как будто по делу, а в самом деле потому, что меня испугала мысль: а что если Лиза делается *madame Marinaky*! Это ужасно! Я не шутя люблю ее любовью отца или воспитателя, и мне бы не хотелось, чтобы она стала *madame Маринаки*. Катерина Платоновна догнала меня и просила ехать с ними.

— Я боюсь этого льва, — сказала она.

— Лев он не очень кровожадный, — отвечал я. — И зачем я с ними поеду? Пусть Лиза развлекается. Время ей жизнью дохнуть слегка. И может быть, он посватается за нее?

— Когда бы так! Об этом еще можно бы подумать, — сказала она. — Лиза неопытна, а он... Кто его знает, какой он!

Я собрался ехать и пошел в конюшню. Лиза сама взнуздывала своего коня, пока кучер седлал.

— Меня твоя мать посылает с тобой гувернером! она боится любезности Мариныки.

— Чего же она боится? — отвечала Лиза. — Она хочет меня замуж отдать. Я за него и выйду, когда захочу.

— Захочет ли он? — спросил я.

— Я знаю, что говорю! — возразила Лиза и вывела лошадь.

Я подержал ее под уздцы; Лиза стала на большой камень, вскочила на седло, сказала только «пустите!» и ускакала. Я поехал за ней. Мариныки ждал нас за поворотом, играл концом уздечки, улыбался и гордо и сладко. Я всю дорогу был задумчив. Я никогда не умел хорошо скрывать своих чувств, а на южном берегу отвык от всяких усилий над собой. И не все ли равно? Скрытность имеет свои выгоды, откровенность свои. А самолюбие еще не умерло... Слава Богу, думал я, что сделали шоссе; можно троим рядом ехать. Я ехал с ними и молчал. Пожалел, что не умею холодно язвить. Этим, как известно, старым средством умеют иные ронять других при женщинах. А я не умею; рассердиться и рассердясь наглубить, — это я понимаю. Но как-то все жалко трогать спокойно самолюбие другого. Хотел для пользы Лизы поробовать подтрунить над Мариныки, и вышло неудачно. А у него спросил:

— А что, это про вас написали стихи:

Мариныки

Поел все раки и т. д.

А он отвечал без гнева и смущения:

— Нет, это про Манираки. Вы видите, и рифма лучше:

Манираки Поел все раки.

Мариныки говорит вообще немного. Лиза часто молчалива и угрюма. Прогулка наша была нескучна (езда по таким местам и в такую погоду все-таки приятна); но грустная-прегрустная была эта прогулка! Я предался вопросам — как назвать, как определить мое собственное чувство? Ревность? О, нет! Отчего же я не ревновал, когда Алеша принес Лизе букет? Лиза приняла букет и сказала с улыбкой: «спасибо, Алеша!» И посмотрела на него пристально этими пылкими глазами, которые так пугают мать и так нравятся мне. Потом заняла у меня рубль серебром и хотела дать ему на чай, но я остановил ее. Почему же начало этой встречи порадовало меня, а конец огорчил? Где же ревность? Или это оттого, что я нахожу Алешу лучше себя, а Мариныки хуже? Что за странная роль! Отец? Но отец сравнивает только Алешу и Мариныки, А и В. А у меня еще является между ними С, и это С — я сам.

2-го февраля 1854.

Катерина Платоновна нездорова. Сверх того ее огорчила скрытность дочери; мы недавно только узнали, что Мариныки делал ей предложение, и она отказала. Она боялась, что мать будет жалеть об этом, и скрывала до сих пор. Я долго журил Лизу за эгоизм и объяснил ей, что от такой доброй и несчастной матери можно перенести замечания, что принуждать ее никто бы не стал, а если любишь мать, не надо скрываться

от нее. Они помирились. Лиза просила у нее прощенья. Она слушается меня, я это давно вижу. И мне захотелось признаться Катерине Платоновне, что я не раз смеялся над Маринаки и доказывал Лизе, насколько она выше такого жениха. «Хорошо ли вы это сделали?» — спросила бедная мать с таким чувством, что я на минуту смутился. Но потом напомнил ей, что она сама, однако, предпочла бы своего мужа господину Маринаки.

— То я, — сказала она. — Свои страдания не так еще страшны. А сокровище мое, дочь родную, не вернее ли по гладкому пути ввести в хаос жизни?

Я возразил ей на это, что она верно бы не желала, чтобы сын ее покупал покой и право идти по гладкому пути в «хаос жизни» ценою чести?

— La vertu conjugale est le courage et l'honneur de la femme! — заметила мать.

Я с этим не согласился. Надо еще знать, с кем соблюдается *vertu conjugale*!

11-го апреля 1854.

Катерине Платоновне хуже и хуже; она, кажется, не переживет весны. Сегодня она одна сидела на скамье в тени; я подошел к ней.

— В дальний путь собираюсь! — сказала она печально. Я молчал.

— Благодарить вас или нет? — спросила она.

— Не благодарите, — отвечал я, — мы квиты. Мне было легче этот год. И вас и Лизу я очень люблю.

— Ах, Лиза! Лиза! — воскликнула бедная мать и заплакала. — Лиза, дитя мое родное! Отрада, жизнь моя! Что я с тобой сделаю, дочь моя милая? Куда я дену тебя?

— Куда? — сказал я, — никуда. Пусть здесь живет.

— А языки?

— Я сделаю ее наследницей моей. Встретится жених и получше Маринаки. Кого вы боитесь? Мнений Зильхмил-лера, который румянится, и ему подобных?

Катерина Платоновна думала, а мне хотелось поглубже войти в ее душу, и я продолжал:

— И наконец, всякий знает, что я ей двоюродный дядя, плешив, сорок пять лет, отжил. Поставьте себя на место других и судите — чем я не опекун?

— Ваше открытое чело всем нравится; на нем печать мысли, — отвечала она. — У вас лицо приятное, выразительное. Вы бодры и здоровы... Поверьте, найдутся низкие люди... и наконец, вы сами не бессмертны; а что она будет и без вас, и без меня!

Я отклонился от разговора, желая подумать. Когда Катерина Платоновна уснула, я позвал Лизу гулять. Вечер был прохладный. Она повязалась по-русски белым платком, а этот убор смягчал ее строгое лицо.

— Лиза! — сказал я, — если твоя мать умрет, что ты будешь делать?..

Она просила не говорить о матери, но я настаивал.

— Я знаю, ты целый день плачешь, когда одна. Ты знаешь, она сильно больна. Любя ее, подумай о себе...

— Я у вас останусь. Буду на ее могилу ходить, буду вам служить, буду вас любить...

— Мать твоя боится людей. Скажут, что она тебя продала мне.

— Я не боюсь.

— Но она боится и с этой боязнью в гроб уйдет.

— Уеду, определюсь куда-нибудь. Одна она у меня; ее не будет, что мне!

— Лиза, — сказал я ей, — что быть любовницей нелюбимого человека, что женой — все равно для души. Но для жизни все ловчее быть женой. Мне тебя жалко!

— Кусок хлеба найду, если вы не хотите, чтобы я у вас осталась! — перебила она.

— Я не хочу? я не хочу? Да я буду умирать от тоски без тебя и без твоей матери! (Я чувствовал, как вся моя душа уходила в мои слова.) Я сочту себя несчастным, если дам тебе погибнуть.

— Что такое «погибнуть»?

— Что такое «погибнуть»? Это очень длинное объяснение. Проще всего погибнуть — значит унизиться, упасть. Не то, чтобы нужду терпеть или страдать. Если нужда тебя не унизила, если, напротив того, ты стала выше и прекраснее от ее тяжести — тогда ты не погибла. Если ты умерла от нужды в честной борьбе, ты тоже не погибла. С другой стороны: если ты ведешь богатую и разгульную жизнь, но при этом добра, великодушна, пряма, умна, даровита и пленительна, как одна из тех знаменитых артисток, монархинь и других женщин, имена которых дошли до нас, тогда ты не погибла, по-моему. А если беспорядочная жизнь обезобразила твою душу — ты погибла! Или, если ты можешь быть счастливой с Ма-ринаки — ты погибла!

— Вот как! — сказала Лиза. — Вот вы что говорите! А с вами быть счастливой — это не погибнуть?

— Нет, — отвечал я смело, — влюбиться в меня, обнищавшего духом, с лицом старым, с сердцем бесстрастным — это своего рода гибель или жалкая ошибка. А выйти за меня замуж, чтобы быть независимой, порадовать больную мать, чтобы иметь в руках средства помогать другим страдальцам, чтобы жить вольно и широко, когда захочется, и в запасе иметь верного друга для черных дней, для дней болезни, отращения и обманов — это не гибель, это улучшение!

— Так, значит, кончено? — спросила она.

— Кончено, мой друг, — отвечал я.

Она, быть может, думала, что я обниму ее в этот вечер, прижму ее к сердцу, и готовилась это снести; но я, как случалось и прежде, поцаловал ее в лоб и перекрестил три раза, вместо матери, которая уснула и не успела благословить ее.

Я спал ночь хорошо и не чувствовал в себе никакой перемены.

Я думаю, она привыкла ко мне; любит Аи-Бурун, пожалуй, и Христинья тут замешалась; никогда Лиза прежде так привольно не жила; и в сердце столько движений!

Спроси у нее, она и не сумеет отделить меня от Аи-Буруна. И не надо. Зачем требовать невозможного и неуместного в таком деле бескорыстия³ Она не сознает своего детского расчета, и довольно! Будет ей привольно, будет и мне не стыдно.

15-го апреля.

Вчера мы обвенчались.

Мы возвращались домой по шоссе в коляске; ехали рысью и молчали. Я не знаю, отчего Лиза молчала, а я молчал от радости. Лиза бывала почти всегда одета не только бедно, но иногда не совсем опрятно: с матерью за это у нее бывали ссоры. Но в день свадьбы она была дама, как дама! Белое кисейное платье, пышное, новое; палевые перчатки, букет цветов в руке и в косе белая роза, брильянтовые серьги (это я выписал для нее еще прежде). В первый раз я ее видел в душистых палевых перчатках! Лиза — дама! Моя Лиза — дама, и еще богаче многих! Из-за этого одного стоило жениться. Верст за пять не доезжая до Аи-Буруна, мы увидели на горке толпу молодых татарских всадников в праздничных одеждах. Они крикнули все разом, бросились с горы вскачь, окружили нашу коляску, осыпали нас цветами и проводили на рысях до самого крыльца.

Мы благодарили их, угощали кофеем и фруктами, жалели, что они не пьют вина. Зато вина вдоволь выпили русские дворовые, которых собралось меня поздравить человек до двенадцати из соседних экономии. Они пели и плясали, и татары плясали на площадке перед домом, а русские смотрели. Море опять было тихое, бледно-лиловое; луна начинала слабо светить в стороне; по решотке и колоннам нашего балкона уже распускались ползучие цветы, а за морем чуть был виден розовый отблеск зари. Добрая мать наша, полуживая от умиления, сидела на балконе; Лиза внизу на ступеньках пела с русскими девушками «Во лузях, во зеленых лузях»; татары собрались кучкой под кипарисами; а я? Я — что чувствовал в этот миг!

17-го апреля.

Однако небольшое облако набежало на мое счастье. Пока пели и плясали люди, пока мы ехали в коляске, пока я смотрел на мать и любовался (клянусь, только любовался!) на Лизу, я был счастлив чуть ли не чужим счастьем. Да! радость моя смутилась при одной мысли, что я в самом деле муж, а не только покровитель. Лиза моя! Когда ты вчера принимала покорно и серьезно мои презренные, нерешительные ласки, ты не знала, моя дочь, что твой друг отступает в ужасе от своих святотатственных прав!

Мне ли следует окончить весну ее жизни? Мне ли сделать ее матерью! Мне ли?!

Что я приношу ей, кроме теплой дружбы? Законные права? Отдать первые чувства девы не божественной страсти, а печальной дружбе и правам... Боже! дай мне силы быть счастливым!

20-го апреля.

Сегодня поутру я вышел рано на крыльцо и спросил себя еще раз: зачем я женился? Но провидению угодно было вразумить меня. Около крыльца распустился роскошный махровый мак. Еще вчера весь цветок был завернут в зеленые листья бутона.

Я знаю, зеленые листики эти опадают, когда цвет распутился в полной красоте. Такими листиками для нее буду я со всем моим до поры до времени. Придет время, и отпаду и высохну!

25-го июня.

И за то благодарю, что она не показывает мне любви. В ней ничего как будто не изменилось. Все та же Лиза. Слава Богу! Что бы я должен был думать, если бы она хоть раз обняла меня страстно или бы томно прижалась к моему плечу? Дурной вкус? Притворство? Презренное получувство привычки? И то, и другое, и третье! Один раз она рассеянно поднесла мою руку к губам своим. Я оттолкнул ее и сказал ей с таким гневом: «никогда, Лиза, никогда!», что она смутилась и ушла. Я выждал минуту и просил у нее извинения за мою грубость.

— Я не буду, если я вам так противна, — сказала она.

— Не ты противна, дитя мое, а я сам себе противен! Придет время, когда ты поймешь меня.

Она просила меня говорить ей всегда, чем я недоволен; я отвечал ей:

— Я, Лиза, всем доволен. Довольна ли ты?

— Живу, — сказала она угрюмо. — Я еще никогда так не жила... Что мне? Сад есть, гуляю; рояль есть, играю и пою; корова есть — дою корову... Верхом катаюсь.

О матери ни слова. А мать угасает так, как я бы желал угаснуть. Счастье и покой дышат во всех ее словах, во всех движениях. Сама недавно мне сказала: «так умирать еще можно, как я умираю у вас, глядя на Лизу. Лиза не думает, что смерть так близка». Свадьба наша сначала оживила немного Катерину Платоновну, и это обманывает дочь. К тому же у Лизы есть та благородная детская стыдливость, которая избегает говорить о высоких чувствах. Но надо видеть, как она служит матери, как веселит ее своими отрывистыми шутками, пением; читает громко целые часы; ночью сколько раз встает и прислуживает ей.

28-го июня.

Да! она довольна. Она незнакома с лучшим и не знает, что есть лучшее на свете и что мы не только имеем право, но обязаны иногда узнавать (не искать ли?) это лучшее, если оно не покупается ценою унижения и духовной гибели. Она, кажется, довольна. Нарядиться не ищет и не умеет. Но когда я прошу, чтобы она оделась в новое платье — оденется. Один раз сама оделась наряднее в длинное шелковое платье, вышла (а мы с матерью пили кофе поутру), посмотрела на нас, покраснела, не своим голосом сказала: «дама сегодня пришла!» Ушла и переоделась. Лошадей любит; на конюшню беспрестанно; вышивает кучерам пояса; за орехами ходит с девушками в верхние роцци; в саду работает; зимою сажает деревья сама, вдвоем со стариком Ахметом. Корову я ей отличную подарил; доит, кормит ее. Последнее время газеты интересны; грозятся высадкой в Крым; Лиза иногда читает нам их громко и делает свои замечания.

— Как уж мне этот фельдцехмейстер фон-Гесс надоел! Все куда-то ездит! Вот в Вену опять поехал.

Мы с Катериной Платоновной этой выходке очень смеялись.

Иногда ее суровые мужские вкусы смягчаются; недавно она завела котят. Один чорный котенок вышел такой забавный, что я и в жизни такого не видал. Только мы собрались все вместе, он на сцену и давай штуки выделывать, кубарем так и катается, без нужды заберется везде...

Лиза его полюбила; а за ней и мне он стал как будто родной.

В гости она любит ходить только к татарам и к простым русским и всегда приносит оттуда любопытные рассказы: как Эмине, дочь Саад-Сейдамета-Оглу, делала в бумажном окне отверстие, чтобы видеть своего жениха; как он ее увез; как отвез к русской помещице в степь; как гнались за ним двадцать человек; как молодые немецкие колонисты помогали им; мать ездила жаловаться губернатору, а дочь у губернатора в кабинете по-русски сказала: «Я его люблю; я за него и пойду!» Рассказывает, как убирают золотом лоб невесты на свадьбе, как ее раз самое всю раздели татарки, чтобы видеть и платье и белье со всех сторон.

Находим изредка случай делать добро. Недавно Лиза выручила из рук Зильхмиллера (чтеца Дюма) Парашу, крепостную девушку соседа нашего Ш-ва, у которого Зильхмиллер управителем. Она ходила за г-жею Зильх-миллер, а муж ухаживал за нею. Madame Зильхмиллер прибила ее по щекам раз; Параша перенесла; но на другой раз прибежала к нам вся в слезах. Помещик Ш. человек умный и хороший; я написал ему в Петербург об этом; а Лиза встретила в Ялте ревнивую управительницу, заспорила с ней о Параше и разгорячилась до того, что наговорила грубостей. Madame Зильхмиллер сказала как-то: «Всякая порядочная женщина...» — А Лиза скрипнула зубами и говорит (из бархатных глаз ее как будто посыпались искры): «Да разве вы женщина!», отвернулась и ушла.

Мы взяли Парашу внаймы к себе.

29-го июня.

Я каждый день купаюсь за грудой больших камней, за которыми ничего не видно, кроме неба и моря. И прежде я тут же купался, но все было не то. Волны те же; каждый день, каждый миг бьют они точно так же, как прежде, в те же камни... Та же пена кипит... И я по-старому сижу долго один на песке, смотрю на зеленую и малиновую морскую траву... все то же... Но я не тот! Все кругом поет тебе долголетие и мир. Возможна ли здесь мысль о смерти?

11-го июля.

Давно я не брал пера в руки. Катерина Платоновна скончалась. Мы ее похоронили.

23-го июля.

Мне понравилось, что Лиза в первые дни не плакала, а стала плакать потом. Могила Катерины Платоновны на круге, к которому ведет миртовая дорожка; весь круг

тоже обсажен стриженными миртами, дорожка вдруг заворачивает в ту сторону. А посредине круга старый, огромный дуб, и под дубом скамья. Не раз уже мы на ней молча сидели вдвоем. Памятник покойнице еще не готов, но в душах наших воздвигнут вечный памятник ее кротости и горю!

25-го июля.

Газеты продолжают говорить о будущих бомбардировках. Я не верю, чтобы французы решились высадиться в Крым. В Варне был большой пожар. Приписывают его грекам и их преданности России.

22-го сентября 1854.

Как это вдруг все сделалось! Высадка; несчастное сражение под Альмой; Севастополь осажден. Мы слышим отсюда грохот артиллерии. По морю уже ходят большие неприятельские суда. Что делать? Уехать или нет? Уехать — ограбят все. Не уехать — Лиза, баши-бузуки... быть может, и татары... Конечно, они почти все знакомы нам и любят нас; но слышно со всех сторон, что они расположены к измене и грабежу. Какие неожиданные чувства разгораются у народа мирного и честного под влиянием широких исторических эпидемий! Лиза думает остаться; я вижу, ее интересует близость войны; она ничего не боится, и по незнанию, и по природной отваге.

10-го октября 1854.

Говорят, турок в этой стороне не будет. Англичане занимают Балаклаву. Поэтому лучше остаться и стеречь имение. Ее никто, Бог даст, не тронет; а те средства, которые дают нам возможность жить по-своему, могут пострадать, если мы уедем. Христинья боится больше всего татар; Ахмед-садовник нарочно страшит ее, а она проклинает его на чем свет. Лизу все это занимает до крайности. И у меня душа выросла... Все сильнее, все слышнее стало чувствовать! Ловишь каждый миг своей жизни, каждый слух... Все исполнилось кругом как бы иным, высшим смыслом...

Останемся!

2-го марта 1855.

Что за зиму мы провели здесь с Лизой! У нас здесь мир и еще бесплоднее прежнего. Из прекрасных экономии уехали последние помещики; зайдешь или заедешь в которую-нибудь — ни души! Для кого эти столпообразные скалы Орианды (самые прекрасные из всех здешних скал)? Для кого бурый исполин Аю-Даг с начала веков купает свою медвежью голову в море? Эти сады террасами, с растениями всех стран и дивными домиками, разноцветными в разноцветной зелени? С непостижимым чувством смотришь вечером с высот на огонек, мерцающий далеко в русском окне.

На плоских вершинах гор сходит снег.

В верхних сосновых лесах и пониже, в орешниках и рощах, которые лепятся по склонам — все уже в цвету.

Цветут нежные орхидеи; фиалки уже кончились. Недавно ходили мы вдвоем с Лизой в рощи собирать фиалки для белья. Боже мой, вблизи ни звука, ни голоса... Все распускается, все душисто, а севастопольская пушка ревет вдали и день, и ночь!.. Лиза говорит: «ах! если б туда!» Всякий раз, как грянет знакомый гром, она бледнеет и краснеет, а глаза искрятся... какие разнообразные силы сокрыты в ее душе!

3-го апреля.

И у нас показались признаки войны. Заезжали донские казаки со стороны Ялты. Со стороны Балаклавы показываются иногда неприятели. Французы сходили в Алупку, но ничего не испортили. Было человек десять и в трех верстах от нас. Вообще они ведут себя хорошо, и солдаты и офицеры. Однако прекрасный мраморный дом соседа Ш. сгорел, и церковь его ограбили; один русский работник заболел от страха и недавно умер; мимо него промчался французский кавалерист: на голове один свадебный венец из церкви, а в руке другой. Я думаю, француз вообразил себе, что это какие-нибудь «couronnes ducales!»

Говорят, что они нашлись в погребке Ш-ва; другие обвиняют татар, которые поселены на земле Ш. Мне трудно поверить, что это сделали французы; это на них не похоже. Однако на одной из обгорелых стен написано: «Le 47 de ligne a passé par là! Adieu messieurs les russes!» По дороге вокруг дома валяются пружины из диванов и кресел. Погибла картина Айвазовского «Вид Керчи в пасмурный день».

Может быть, вино и в самом деле довело их до поступка, который не в нравах их честной армии.

Хорошо, что мы остались, хотя иногда и страшно за Лизу.

Да! между прочим, за ней ухаживает казацкий юнкер, который приезжает иногда сюда. Красивый и лихой казачок двадцати пяти лет; говорит высокопарно. «Когда б, — говорит, — вы посмотрели наш народ на тихом Дону! Народ чистый, уродливый! А дончиха в Новочеркасске идет — так ее ветром колышет; словно пташка на древе!»

Лизу он занимает; она ездит с ним верхом, крутит ему папиросы, поет ему «Колыбельную песню» Лермонтова, ходит с ним под руку. Раз надела его папаху и пашку, подтянулась поясом, стала перед нами и ударила себя молодецки кулаком в грудь: «Каков казак?» Юнкер с радости захлопал в ладоши. Неужели она в него влюбится?

2-го мая.

Параша пришла объявить Лизе, что юнкер предлагал ей пять рублей и просил научить, в какое окно надо влезть ночью в спальню Лизы. «Я, — говорит, — одурел от твоей барыни. Ну, такая любовь, такая любовь — просто заключение!» Меня удивило особенно, что Параша запомнила последние слова.

Лиза пришла и рассказала мне все это. Она смеялась и вместе с тем была смущена. Я успокоил ее и сказал: «Если ты сама не влюблена в него, будь только как можно суше в

следующий раз... А если влюблена — это твоё дело. Предупреждаю тебя только, что он очень груб и развратен»...

(Раз мне пришлось ужинать в Ялте с ним и другими казаками; он напился и стал рассказывать, как он любит (стыдно даже повторить) «баб и девок розгами или плетьюми драть». Я спросил: «за что?» — «На вот — знай наших Гаврилычей!» Жаль было слышать такие речи от лихого русского молодчика.)

Через три дня он приехал; но Лиза едва показалась ему, не сказала почти ни слова, и он перестал заезжать к нам.

Июль.

Вдали все слышен страшный гул с небольшими роздыхами. Недавно шторм отбит от Малахова кургана. Отличился один генерал Хрулев, о котором я прежде не слышал. Дай Бог нам побольше военных дарований!

Нас, крымских жителей, затрагивает не только честь русского оружия; нам грозят самые глубокие потери. Если, от чего Боже сохрани, Крым возьмут весь и отдадут Турции или еще хуже — сами союзники завладеют им? Прощай тогда горный рай! Куда мы поедem с Лизой? В Россию, внутрь, где бродит столько старых теней, где как из гробов восстанут близкие и давно чужие люди? А больше некуда. Еще лучше остаться у турок. Французы и англичане заведут везде здесь железные дороги и фабрики, от пароходов отбоя не будет; будут топтать в грязь все русское; оденут как раз татар в жакетки и фраки; распространится зловоние местных газет...

«*Courrier de la Tauride!*» Прощай тогда дикая, забытая поэзия Крыма! Боже, избави нас от завоевания! Мы так тут сжились — Лиза, я и южный берег! В другом месте (кто знает) и я, и Лиза будем не те!

Июля 16-го, 1855.

Сейчас Лиза умоляла меня свозить ее хоть на северную сторону в Севастополь; хоть издали посмотреть на войну; видеть, как громят бедный город, как ночью по небу летают ракеты и каленые ядра. Но я решительно отказался взять ее... Лучше, чтобы развлечь ее, съезжу с ней в Симферополь. Теперь там все кипит. Я знаю, что я там встречу много знакомых из Москвы и Петербурга; но на войне они будут и лучше и новее, да и разве, если станет больно, не могу я тотчас убежать от них сюда?

Июля 29-го, 1855.

Что за шум! Что за движение в Симферополе! При въезде в город и на большой улице дороги нет. Мы беспрестанно останавливались. Гремят городские экипажи; офицеры мчатся на перекладных; немазаные шаграры скрипят; верблюды режут... Визг, брань, лай собак! Лошади, буйволы, казаки, пленные в фесках, пленные в синих и красных мундирах; дамы, ополченцы с песнями, пики, каски с перьями, патриотические сарафаны, папахи, шляпки с цветами, генералы, татары, цыгане, небритые греки, армяне, евреи, чернобровые гречанки у калиток... Насилу отыскали мы порядочный номер — и то за 20 рублей в день! Все лучшие, большие дома, и казенные и частные,

заняты ранеными и больными. Беспреданно приходят и уходят новые отряды; девицы ловят женихов, молодые люди увлекают девиц и спешат уехать; в городе тиф и холера.

Рядом два дома: в одном сотни людей изнемогают на койках, в другом — танцы и музыка далеко за полночь. Не скучно, когда опомнишься... Ночи теперь лунные, и на бульваре около Салгира каждый вечер музыка. Мне приятно было видеть, как все оглядывались на Лизу, когда она шла со мной в белом кашемировом бурнуса и белой шляпке. Я думаю, жалеют, что у нее муж уже немолод и немолодцоват. Впрочем все эти прохожие смотрят, вероятно, в белые стекла и разделяют мнение, что «мужчина, если немного получше чорта, так и хорош!» (Что за смрадное мнение!).

Вышли раз на бульвар и встретили полковника барона Пильнау, моего старого знакомого; он командует гусарским полком. У него большие дочери, ровесницы Лизе (а он мне почти ровесник), и они приехали из самарского имения с ним повидаться. Он нанял прекрасную дачу за Салгиром и тут же пригласил нас на бал.

Дочери его, высокие и гордые блондинки, с Лизой обошлись очень любезно.

— Что ж, поедем? — спросил я, когда мы остались одни.

— Как вы хотите.

— Я хочу... А ты?

— И я хочу, — сказала она.

Я спросил, училась ли она танцевать? Она отвечала, что учиться — не училась, а так знает.

Я решился, конечно, одеть ее сам, потому что она ничего не знает. Послал за французенкой для моды, а вкус предоставил себе. Белый тарлатан, широкий черный бархат где нужно и бледно-розовые маргаритки превосходной работы — вот и все... Веер купил хороший, французенка говорила все «ah! bah! vous n'êtes pas dégoûté!», когда я ей говорил, как сделать *cache-reigne* из черного бархата и маргариток.

Хоть куда вышла моя Лиза!..

Сели в коляску и спустились за Салгир к пышным и тихим садам, из которых дул влажный, упитанный запахом горького миндаля ветерок. (В это время всегда цветет здесь множество белой повилики.) Сквозь чащу старых тополей и каштанов уж видны были разноцветные фонари, и музыка играла восхитительный вальс. Лиза молчала, и я молчал. Вошли. Зала была полна. Гвардейцы, гусары, уланы, моряки, чиновники, щоголи, несколько шотландских пленных красавцев, дам множество. Дочери барона взяли Лизу, а меня повели играть в карты. Я насилу вытерпел два роббера и вышел в залу. Смотрю, моя дочь танцует больше других: то с тем, то с другим, и говорит довольно свободно. Я от радости проигрался в пух!

Заря занималась, когда мы уехали. Лиза заснула, заснула в коляске; а я был так взволнован печальными воспоминаниями, мыслями об ней и о моей собственной судьбе, что и дома уснуть уже не мог.

Лиза встала поздно и целый день была грустна; после обеда она позвала меня за город. Мы уехали в сад Кня-жевича, один из лучших в этом зеленом поясе садов, который широко вьется за Салгиром — посреди нагой степи.

Лиза не отходила ни на минуту от меня, держала меня за руку и все твердила:

— Тут лучше! Тут лучше! Поедем домой, к Хри-стинье.

— Зачем так скоро? — спросил я с удивлением, — еще потанцуешь, еще увидишь народ.

— Не хочу. Я не буду больше по вечерам ездить... Душно потом.

— Это в первый раз, Лиза; попробуем еще. Таких случаев долго не будет. Южный берег опустел и когда-то оживится!

— Нет. Уедем домой!

Я знаю, что значит, когда она твердит одно и то же. Она редко противоречит мне, и наша жизнь была так устроена и однообразна, что и спорам не было причин. Я убеждал ее в чем-нибудь, и она слушалась; но если она стала так твердо на этом «уедем! уедем!» — надо ехать. Иначе целую неделю будет молчать, тосковать и отдаляться от меня.

И в самом деле, здесь и мне тяжело.

Пока Лиза утром еще спала, я пошел проведать одного пожилого ополченца, разоренного помещика той губернии, в которой я родился. Я на днях, мельком, увидел его больного и обвязанного в пролетке, по дороге к госпиталю. Было время, я проводил у него дни и ночи. У него было пять дочерей и три сына; дочери были почти все недурны, а я был студент. Потом я узнал, что он разорился и поступил с горя в ополчение 50-ти слишком лет.

Прихожу я в главный госпиталь. Говорят, «кажется, сегодня ночью или утром умер; посмотрите в часовне». Зашел в часовню. Стоят целым рядом солдатские гробы закрытые; свечи горят перед иконами. В соседней комнате вскрывают кого-то доктора; один говорит другому: «Вот селезенка так селезенка! Посмотрите! Это идеал селезенки! Что значит свежий человек из России. А наши-то селезенки на береговой линии, что за объем, что за консистенция!.. Я забыл там, какая это бывает нормальная селезенка!»

Я заглянул туда; один из них, молодой, почти дитя, белый, розовый, кудрявый, дерзко облокотился на труп, держит в руке что-то черное и кровавое и любит; другой пилит череп мертвецу и кричит на фельдшера, чтобы крепче держал, чтобы не моталась голова туда и сюда. Я спросил, не капитана ли К-го они вскрывают.

— Нет. Что вам угодно? — надменно отвечал кровожадный хирург.

Я хотел уйти; но в ту минуту два солдата внесли труп моего капитана и положили его в угол на землю. Какое желтое, налитое лицо! Знакомые морщины были как будто разглажены... И, что ужаснее всего, челюсти его были подвязаны пестрым шарфом, который был мне знаком 20 лет тому назад. Шарф тот дала мне тогда вторая дочь его; мы любили друг друга; особенно она меня, но я был ветрен тогда и, уезжая, позабыл ее подарок у них в доме. Говорят, она неутешно плакала при одном взгляде на этот шарф.

Нет, скорей домой! Лиза права. И зато, что за блаженство, когда мы опять поехали мимо Салгира и душистых садов, потом по лесам к Таушан-Базару! Смотрели на аспидную стену Чатыр-Дага, который был у нас вправо. В Алуште мы кормили лошадей, гуляли у моря по песку, любовались на старую башню, вокруг которой ступенями лепятся татарские хижины с навесами и колонками и вьется виноград.

Уже было совсем поздно, когда мы увидали наши огоньки под горою, и Христиныю, и кошечку, и все то, что мы обожаем...

4-го августа 1855.

Однако и здесь не без приключений! Третьего дня в соседнюю татарскую деревню приехали вечером четыре казака, напились и заснули. Поутру их нашли на дороге убитыми и ограбленными. Татары клянутся, что ночью наехали неприятели и убили их. Это вздор. Я, конечно, не пристрастен к французам; но армия их, надо сознаться, первая в Мiре не только по храбрости, но и по привычке к рыцарскому поведению.

На самих трупах есть признаки, что убийцы азиатского происхождения: трупы обезображены. Издеваться над врагом, убитым во сне, не станут, конечно, ни французы, ни англичане.

Странно, а в мирное время куда как татары приятнее для меня и тех и других!

5-го августа.

Узнали об этом деле за Байдарскими Воротами. Приехало сегодня утром несколько французов и сардинцев. С ними два офицера и еще один молодой грек, лет 20-ти или 22-х, в феске; пальто подпоясано красным кушаком, за кушаком пистолеты. Красив и доброе лицо. Зачем он с ними? Как переводчик? Он ни по-турецки, ни по-русски не знает. Он грек не крымский; это было заметно с первого раза и по феске, и по прекрасному произношению греческого языка. Мсьё Бертран, начальник этого небольшого отряда, представил его мне; он родом с Ионических островов, из хорошей тамошней фамилии — *Ма-ноли Маврогенис*, или Маврогени. Я пригласил их всех на завтрак. Маврогени с замечательной жадностью смотрел на меня, на Лизу, на все наши вещи. Я не успел спросить у него ничего, и ни разу не пришлось мне с ним быть наедине.

Мсьё Бертран пришел в негодование, когда узнал, что татары осмелились обвинить французов в изменническом убийстве казаков; созвал их, напомнил кстати о пожаре в имении Ш-ва и пригрозил им так, что они обомлели и объявили имена убийц, утверждая, что они скрылись куда-то. Бертран предоставил розыски русским властям, велел при себе прилично похоронить убитых; сказал татарам, что

подобные поступки равно противны обеим воюющим сторонам и что при малейшей попытке их к грабежу и разбою он сам заберет их, свяжет и отвезет в союзный лагерь, а там их расстреляют или повесят.

После завтрака он благодарил нас с Лизой и прибавил: «что если он еще не так тронут и удивлен, как бы следовало, так это сами русские виноваты — *l'on s'y attend toujours! L'hospitalité russe est connue!*». Мы пошли провожать их в гору; Бертран шел с женою моею впереди под руку и вел изысканный разговор о Париже, о театре, который они устроили в Камыше, о львиной храбрости русских и о дружеском обращении неприятелей во время перемирий. Лиза отвечала ему довольно сухо, и между прочим я слышал, как она сказала: «танцев я не люблю, а в театре никогда не бывала».

Я думаю, он об ней отзовется как о красивой дуре, или, если у него побольше толку, как о полудикой козачке с грубым голосом. И она не слишком хорошего мнения об нем.

15-го августа.

Мсьё Бертран и Маврогени уехали сегодня на рассвете. Они провели у нас опять целый день. Какой славный этот грек! Лихой француз с острыми усами как нарочно *ездит* с ним, чтобы тот казался еще лучше. Как будто и не глуп, и любезен, и, должно быть, честный малый, и, верно, храбр под Севастополем, знает много — *все* у него есть... Но отчего же это все так сухо, так казенно, так истаскано?

На деле, все это силы несомненные, до того несомненные, что этими силами, разлитыми в их полках, они победят стойкую и небрежную отвагу наших войск. И мсьё Бертран — француз... француз и только! Все качества его нации налицо и многие из недостатков. Своего *бертрановского* нет ни искры! Бертран ли он, или Дюмон, или Дюпюи, не все ли равно? Зачем таким людям имена? Их бы звать француз № 31-й, француз № 1568-й и т. д. Какая разница — Маврогени! Какое простодушие, какая искренняя, пламенная молодость во всем, в улыбке, в блеске синих очей, в черных коротких кудрях, которые падают на лоб, в жажде жить и веселиться! Еще прежде я хвалил его наружность Бертрану, особенно бледно-золотой цвет его лица и кроткого, и лукавого, и веселого; Бертран согласился со мной и сказал: «надо уговорить его, чтобы он привез с собою свой албанский костюм: тогда посмотрите!» И точно, пришлось мне подивиться, как может быть красив человек, когда он одет по-человечески, а не по-нашему! Вошел он в густой белой чистой фустанелле, в малиновой расшитой обуви с кисточками на загнутых носках; золотой широкий пояс, полный оружия; синяя куртка разукрашена тонкими золотыми разводами; длинная красная феска набекрень, и с плеча на грудь падает пышная голубая кисть!

Я вслух пожалел, что не родился живописцем. Бертран обратился к Лизе и сказал: «А я, *madame*, жалею, что я не женщина, когда вижу его албанцем!».

Лиза покраснела и не отвечала ему. Маврогени был необыкновенно естественен, пока мы его рассматривали. Не скрывал своего удовольствия, смеялся и не был смущен. Понравилось мне также то, что он мало знает и не скрывает своего невежества; на словах как будто стыдится, а лицо веселое. Увидел у меня на стене портреты знаменитых людей и спрашивает: «Это кто?» Это Лист. «Кто такой Лист?» «А тут подписано *Ройе-Коллар*; что он сделал, Ройе-Коллар?..» «Кто такой Бальзак?» — Странно, — отвечал я, — что вы не знаете ни Листа, ни Бальзака. Про Ройе-Коллара я не говорю — это лицо скромное и серьезное, не для молодых повес...

— Не знаю, говорит, извините! Мне так совестно... А сам и не думает совеститься...

— *Mavroguéni est un brave garçon, mais c'est une tête un peu fêlée*, — говорит о нем Бертран с высокомерием старшего и глубокомысленного друга.

Стали петь хором по-итальянски; Маврогени фальшивит, смеется и кричит:

— У греков, говорит, мало хороших голосов; для этого надо ехать в Италию.

Увидел мой халат. «Позвольте мне надеть!» Надел, смотрится в зеркало и доволен.

Потом рассказывает, что он никогда халатов не носил и не носит. «Когда был на родине, проснусь поутру — ив море. И плаваю, и плаваю, ныряю, ныряю! Некогда халат надевать!» И, несмотря на все свое ребячество, как он смело и строго остановил Бертрана, когда у того сорвалась одна, быть может, необдуманная невежливость. Я стал рассматривать штуцер одного из их солдат, а Бертран сказал:

— *Voilà, monsieur, la bajonette française qui fait trembler toute l'Europe!*

Я не отвечал ни слова и поставил штуцер в угол. Маврогени пожал плечами и заметил ему: «Здесь не бастион, я думаю... идет ли это говорить?...» Бертран покраснел. Потом я из другой комнаты слышал, как они спорили.

— Ты приверженец русских... это известно! Ты слишком молод, чтобы давать мне уроки приличий.

— Да! я русских люблю и тебя люблю. И скажу тебе, нехорошо говорить это русским, когда и без того у них больше тысячи человек выбывает каждый день из строя в Севастополе. Не сердись! ведь мы друзья?

— Прекрасно... мы друзья; но именно из дружбы можно бы было воздержаться от подобных замечаний, пока мы не одни с глазу на глаз...

— Мне было жаль, — сказал Маврогени. Наконец Бертран воскликнул:

— *Eh bien! j'ai eu tort! Je l'avoue!*

Маврогени искал случая быть со мной наедине и, когда добился этого, с жаром стал рассказывать мне о своей жажде видеть русских, о своем побеге на войну от родных, об ошибке, которую он сделал.

— Я решился вдруг, — сказал он, — отец и мать мои жили тогда в Галлиполи... я собрал, что мог, денег, сел на первое купеческое судно, и оно привезло меня в Балаклаву к союзникам. Я все думал — лишь бы доехать, а там убегу... Я воображал всех русских великанами, силачами; думал, что они все строгие, набожные; я с ума сходил, чтобы попасть в ваш лагерь. Но пришла мне мысль ехать в Крым только тогда, когда некому было меня довезти, кроме французов и англичан. Попал я на большое купеческое судно. Волон на нем везли для войска. Поднялась буря, и шесть дней носило нас по Черному морю. Я не унывал: мачты сломались, руль испортился, капитан головой об стену бился; а я все ел, пил и смеялся... и ни разу не подумал, что могу утонуть. Французы за мной следили; бежать не знаю куда, по-русски не знаю; надеялся хоть издали увидеть русских. И когда видел я вдали огни в севастопольских домах, когда пушки ваши стреляли, когда союзники бежали или были разбиты, я был вне себя. Привезли пленных, кричат около меня: «русские! русские!» Я бегу... Вижу — трое. Один казак и два солдата: нехороши собой, ростом невелики. Досадно мне было, что они такие; а еще досаднее, что ни слова не могу им сказать! Все заметили, как я на них смотрел и теперь шагу не могу один сделать. Бертран боялся, чтобы я не пробовал бежать и чтобы не расстреляли; взял меня на поруки, а я дал ему честное слово не перебежать к русским. Но если бы я мог!

— Ив Бертрана бы вы стреляли, если бы были свободны? — спросил я у него.

— Нет, — отвечал он, — в него бы не стал стрелять, а в других с удовольствием, особенно в красных дьяволов, в англичан!

Я разочаровал его немного тем, что сказал: «Между русскими и русскими есть большая разница. Народ, правда, набожен, но нравами не слишком строг; а общество вовсе уж не строгого нрава и, к сожалению, не слишком религиозно. Если и есть где строгость семейных нравов, так это скорее в богатом дворянстве, — прибавил я, — а средний круг наш, который образовался не столько выработкой снизу, сколько распадением сверху, скорее страдает распущенностью, чем излишней суровостью семейного начала».

— Как это странно! Как это странно! — повторял Маврогени. — А у нас, греков, нравы строги. Говорят, это турецкое иго очистило народ. Я не знаю. Так думают другие.

— Не знаю, — отвечал я, — иго ли это очистило или что другое. И крымские греки в семьях строже русских. Если ссор у них [не] меньше, чем у нас, так порядка внутреннего, наверное, больше. Все мужья у них, во-первых, ревнивы, если не по натуре, так по обязанности и для приличия.

— Разве можно не ревновать жену, если ей кто-нибудь нравится? — спросил он с лукавым любопытством.

— Можно! — отвечал я, — у нас многие не ревнуют, а только притворятся из страха чужих разговоров. А есть изредка такие, которые не ревнуют и не притворяются!

Он задумался, и мы простились.

29-го августа 1855.

Севастополь отдан. Иные говорят: чем хуже, тем лучше. Может быть, для России они и правы; но мне, крымскому жителю, страшно за Крым.

30-го августа.

Вчера приезжал Бертран. Он был деликатен; опустил глаза и сказал между прочим: «Это было дело военной удачи, поворот фортуны. Русские были так же мужественны, как и во время первого штурма!»

Второстепенное лицо из французского романа второй руки — какой-то верный, твердый друг!

Маврогени был с Лизой в саду. Я слышал, как они смеялись, играя в мяч.

Мы вышли на балкон посмотреть на них, и они нас не заметили.

Как они оба хороши! Как бы они были созданы друг для друга, достойны друг друга, если бы судьба соединила их, вместо того, чтобы послать меня навстречу Лизе! Как она была сурова и мила! На голове у нее был тот самый белый платок, в котором она ходила со мной в дубовую рощу в тот вечер, когда мы решились обвенчаться.

А какой он молодец! Как молод душой и как ловок! Главное, как молод душой! Как мало в нем той ужасной осмотрительности, которая, как печать проклятия, легла на всю умную часть нашей молодежи; и бертрановская деревянная живость не похожа на то иступление жизни и веселости, которыми дышит Маврогени. Играя, он прыгает и смеется; схватил острую палку и проколол резиновый мяч.

Лиза требует за него деньги; он уверяет и божится, что деньги у него все французские, которые у нас не будут ходить.

Я ушел с балкона и заперся у себя, наедине мне стало еще грустнее.

15-го октября 1855.

Больше месяца не приезжал Маврогени; он был нездоров. Лиза не скрывала, что ей скучно без него. Раз она подумала, что он пробовал перейти к русским и что его расстреляли. Подумала, побледнела, начала спрашивать, как я думаю, и голоса нет. Однако вчера пришла записка от него. Хочет идти сам к генералу Боске проситься к нам на две недели и дать честное слово, что он не перебежит.

10-го октября.

Приехал. Все оживило у нас. Дай Бог здоровья Боске! Лиза громко поет по утрам, когда выйдет к чаю в залу. Он клянется, что скоро будет мир. Прыгает от радости, твердит: «мир! мир!»

Октября 25-го.

Уж скоро две недели, как Маврогени у нас. Мы возили его везде по горам, в Ялту, в Алупку. Он все хвалит; иногда как будто без внимания, иногда с восторгом. Беспреданно говорит о русских: он видел еще русских пленных; он любит русское кушанье; это русская церковь, в русском вкусе; а сам в первый раз видел под Севастополем русский монастырь.

Наших бородатых дворовых, кучеров, извозчиков в Ялте принимает за монахов, потому что у греков все, кроме монахов и священников, бреют бороды.

В нем странное соединение грека с итальянцем. Греческой сухости в нем нет, и лицом он больше на итальянца походит. Во французском языке он ошибается как итальянец, а когда хочет выучиться русским словам, произносит их как грек. Меня это смешит, но Лиза не может слышать этого и говорит: «Уж лучше бы не учился по-русски! Точно еврей» (портной из Ялты). Политические убеждения в нем крепки, и в них он истинный грек героического взгляда. Россию обожает, хотя и не знает ее; горой за православие, хотя сам ленится ехать к обедни; с наслаждением рассказывает о турецких несправедливостях, о грубости англичан; ни в Македонии, ни даже в Румелии не хочет и слышать о славянах — все греки. Мечтает о том, как было бы хорошо, если бы составились две большие православные земли — сухопутная Россия и морская, большая Греция, которая бы вытеснила английский влаг из Средиземного моря и просветила бы даже мохамеданскую Азию. Я на этом всегда его останавливаю и говорю, что новая Греция, особенно та ее часть, которая зовет себя передовой и образованной, не носит в себе никакого оригинального исторического начала и что ко-мерциальные способности одни не дают еще права просвещать по-своему мусульманский Восток. Это просвещение будет губительно для духовного богатства на земном шаре; мусульманизм, по-моему, способен к обновлению

самобытному, лишь бы он покинул Европу и, оставляя другим волю развиваться, избавился бы сам от опасности стать жалким лакеем Запада. Я думаю даже (хотя и не совсем слепо), что в Коране есть начала сходные и с фатализмом новой статистики, и с пышностью самого м!роздания. Коран говорит: «Богу угодно, чтоб были и добрые и злые, и грешные и праведные. Он знает, что нужно!» Не сообразно ли это с историей, с жизнью растительного и животного Мира, поэтическими противоположностями вселенной? Может быть, я ошибаюсь. Если так — пусть простит мне Бог; но в мыслях наших мы не властны!

Маврогени не понимает этих возражений. Продолжаю о нем. Сегодня мне и весело и душно, как будто я помолодел; хочу писать.

По привычке или по обязанности, он хвалит строгость домашней жизни у греков; хотя и сознается, что нередко гречанки обманывают мужей, но пусть принцип стоит!

А итальянская натура и жизнь в Италии тоже не остались в нем без следов. Добродушие, легкомыслие, невольное желание изменить этому греческому принципу домашней жизни, но только не в ущерб себе, а в ущерб ближнему...

Он рассказывал Лизе, что в Неаполе у одной дамы был муж и был «человек, которого она любила» (так он сам выразился). «Человек, которого она любила», продал хорошее имение около Флоренции и переселился в Неаполь, чтоб быть всегда с нею. Муж был осужден на изгнание за политический заговор; неаполитанке стало так жаль мужа, что она уехала с ним. И что же? Родные этой дамы порицали ее и брали сторону любовника, который из любви к ней разорился!

— Вот как строго судят в Италии! — сказал Маврогени.

И, по всему видно, рад, что судят так! Он знает наизусть много любовных греческих песен, и хотя сам поет дурно, но для верного музыкального чувства Аизы достаточно было его намеков на музыку, с которой их поют. Не знаю, поет ли она их верно, но слышу, что поет хорошо. Из героических мне нравится особенно одна:

С мечом за поясом

И на коне моем

Я лечу, как птица!

Когда стреляю из ружья,

Я не забочусь о том,

Что мне сулит судьба.

Я пою и смеюсь, когда свищет свинец, льется кровь

И верхом на моем коне по темной дороге

Скачу через пропасти.

Не плачь, красивая девушка!

Путь мой лежит за горы...

Я везде найду красавиц, но долго не останусь ни с одной
 Из них нигде и назад не вернусь.
 Недурна также другая грустная песня, которая начинается:
 Ты ангел мой!
 И в руках ты держишь мечь,
 Который погубит мою голову...

Какое прекрасное соединение страсти и суровых таинственных впечатлений! Я зову эту песню вечерней, и Лиза всегда поет ее под вечер.

Октября 27-го.

Вчера вечером мы долго говорили с Маврогени с глазу на глаз. Он беспокоится о том, что ему делать, если мир не будет заключен. Как попасть к русским, не нарушая честного слова?.. Он думает уехать в Турцию и возвратиться через месяц совсем сызнова через Молдавию и сухим путем, через Перекоп, в наш лагерь. Слово сдержано, — он не бежал; он уехал на родину. А после — это уже нечто вовсе новое. Это умно придумано.

2-го ноября 1855.

Все кончено! все решено! Утром я пошел, по обыкновению, осмотреть сад и возвратился довольно усталый со стороны той лужайки за домом, за которой полукруг кипарисов. Надо заметить, что дом наш прислонен к этому лугу задом, и прямо с него можно шагнуть на балкон. Я так и хотел сделать. Подхожу — Маврогени стоит спиной ко мне у перил, а Лиза сидит перед ним на стуле: лицо ее скрыто в его руках, а ее руки обняли его колени. Они не слыхали, как я шел по траве, и я поспешно удалился.

Остался я один, и все во мне было и полно, и взволновано. И жалость непонятная, и радость, что ей весело и хорошо... Не так ли волнуется и блаженствует мать, когда сын покидает ее для успехов и наслаждения? Хотел идти... ищу шляпу — она на мне... Хотел идти к морю — не мог. Сел опять к столу, закрылся руками, чтобы свет Божий забыть, и спросил себя:

— Зачем ты не ревнуешь? Как смеешь ты не ревновать? Но что же делать мне, если во мне нет ни искры ревности? Что делать мне, если она мне давно не жена, а моя дочь, мое создание?..

— Но твоя дочь, твоё создание *гибнет!* Она падает!.. Протяни ей крепкую руку старого друга... Удержи ее на краю!..

Нет, пышный мак расцвел, и хранительные зеленые листья пусть сохнут и опадают!.. Кто сказал вам, глупцы, что она гибнет? Кто сказал вам, глупцы, что тот, чья рука покрыла землю коврами цветов; тот, кто научил человека воздвигать узорные дворцы и храмы и списывать на полотно благородно-дряхлые хижинки; чей дух вдохнул в нашу жизнь громы музыки, громы бурь и громы сражений; по чьей воле мы в сумерки

поем грустную песнь про страшного ангела с мечом и про степь, по которой веет вечерний ветер, — кто из вас решил, что волнения чувств и страстей не плодотворны и не угодны ему так же, как и узоры храмов, и узоры цветов, и волнения моря, и волнения музыки?..

Чем упала, чем унизилась она? Она не была и не будет счастливой женой ничтожного Маринаки, она ко мне, обветшалому и отжившему, не питала глупой страсти. Она не влюбилась в безличного Бертрана; странная речь молодого казака, его выразительные узкие глаза и белокурая скобка волос, его грубое русское удалство ей нравились больше, но за мигот страсти могли грозить ей унижение и обида дикаря. Она остановилась. Привычка ко мне, глубокое уважение, дружба, покойная роскошь наших будней не убили в ней бездонных сил для новой жизни и любви... Живи, живи, моя Лиза! Живи моя дочь, живи и расцветай, мое божество!..

4-го ноября.

Уехал. Я не видал ее в минуту его отъезда.

5-го ноября.

Вечером я сидел один в темном кабинете. Вошла Лиза, села у стола, вздохнула раза два, сказала: «Ну!..» и замолчала, и опять вздохнула. Лица ее мне не было видно.

Я молча взял ее руку. Она начала опять:

— Ну... я пришла!

— Знаю! — сказал я, — знаю. Не тревожься... забудь обо мне...

Она упала передо мной на колени и горько заплакала, повторяя тихо:

— Вас забыть?... Вас?... Ангел мой! Добрый... добрый!..

Я видел, что эти слезы были слезы невыносимого счастья, теплый майский дождь между двумя сверкающими днями.

Я не был так чисто счастлив, когда сам любил юношею!

Прочь сомнения! Прочь рабство общих мнений! Пусть питается дешевой и безвредной пищей тот, кто не в силах вынести божественных напитков!

20-го ноября.

Мы ждем его с нетерпением. Днем Лиза избегает произносить его имя; но когда вечером мы гуляем по скалам и в рощах над морем, тогда мы говорим о нем.

— Однако вам больно что-то? — спросила она вчера. — Вы чаще вздыхаете.

— Разве я не вздыхал часто, когда мы с тобой ехали, после бала, по лесам у подошвы Чатыр-Дага? Разве я не был счастлив тогда?

— Нет у меня слов, чтобы вам сказать, как было, — продолжала Лиза, — когда я одна — все во мне кипит как будто... Готовлю вам столько... А пришла — не могу! Это-то и есть любовь или еще нет?

— Это и есть любовь, — отвечал я.

— Отчего же душно и при нем и без него?

— Оттого, что истинное, глубокое счастье не по силам нам; мы к нему не привыкли.

— Это правда! — отвечала Лиза.

— Это правда! Видите? Это правда; значит, мы к счастью не привыкли!..

Должен ли я, смею ли я мешать ее блаженству и умерять неразрывную с ним благодатную тоску? Не со мной же испытывать ей эти чувства! не со мной же озаряться на миг райским лучом за то только, что я честен, добр для нее и прочел сотни две разных книг!

Последняя заслуга дешевет с каждым днем и лет через 50 станет пороком, если люди не образумятся.

22-го ноября.

Все это время Лиза весела; она ждет его с нетерпением. Известия о мире становятся вероятнее.

26-го ноября.

Поеду сам за ним. Лиза тоскует. Теперь перемирие; да и кому нужно брать в плен мирного помещика?

5-го декабря.

Вернулся один. Он больше трех недель как уехал домой. Что это значит? Он слышал со всех сторон, что ждут мира... Неужели он легок до того, что прикоснулся к цветку и умчался? Остыть — я понимаю. Но есть мера и время на все!.. Легкомыслие не исключает глубины чувств, и я думаю, тут кроется что-нибудь другое. Впрочем, не раз я видал, как прекрасные люди поступали дурно и ничтожные вели себя хорошо.

Едва только я выехал на наше шоссе из Байдар-ских Ворот, как увидал Лизу одну на камне. Было уже поздно, а от нас этот камень верст пять или шесть. Вот за это бы стоило вызвать и убить его! И как он мог быть так близок с ней и не полюбить ее, не увлечься сильно, по крайней мере, на время? Не понимаю! Это его унижает.

Я увидал ее на камне и вскрикнул:

— Лиза!

А она подошла, глядит в коляску...

— Вы одни? Только и сказала.

Когда она узнала, что он уехал на родину, она прибавила только:

— Ну, Бог с ним. Как все было прежде, так и будет!

8-го декабря 1855.

Хорошо, если бы прежнее было возможно! Но я боюсь. Она бледна, и Христинья жалуется, что она по ночам плачет на кровати.

26-го апреля 1856.

Наконец! Мир заключен, и пришли письма. Приезжал Бертран и мне отдал одно, а Лизе другое, — тайна. О моем я не говорю, — пустые оправдания, просьбы сделать для него что-нибудь, чтобы он мог служить в России, благодарность за дружбу и т. п. Но когда Бертран, простившись с нами навсегда, уехал, — Лиза принесла мне свое и переводила слово за словом с итальянского. Ей не нравился риторический язык этого страстного письма. Она часто повторяла: «К чему это?» Иные места она вовсе пропускала (от стыдливости, я думаю, а она говорит, что не умеет перевести).

«Как мог я (пишет Маврогени) долго наслаждаться в земном раю вашем, когда совесть моя поднимала ежедневно во мне ужасную бурю? О, мой кумир! О! зачем я лишен света, который озарял мой путь? Но могли ли мы с тобой, моя вечерняя звездочка, быть врагами нашего доброго, почетного друга? Я разве не помню тот вечер, когда в шуме гигантских волн, в шопоте деревьев роскошного сада, в кротком взгляде луны с небес я слышал и видел упреки?.. Я бы не мог выносить прикосновения соперника к тебе, моя прекрасная, хотя бы ему были даны права на тебя перед жертвенником. Я понял: некоторые из *слов его* были желанием испытать меня... Я это понял и не мог сам выносить долго его близости. Зачем же и я с своей стороны буду терзать сердце того, кого чту, как отца? Зачем буду вносить в его дом бесчестие и раздор? Прощай, моя прекрасная! Краткий миг блаженства нашего был выше, прекраснее всяких слов... Но не лучше ли было бежать от тебя?»

Он думал, что я не могу не ревновать! Он называет это — вносить бесчестие в дом! Он видел впереди раздоры, воображая, что я ничего не знал и что, притворяясь доверчивым, испытывал его честность!

Благородно, — но какая ошибка!

Я спросил у Лизы, как она не сумела объяснить ему мой взгляд; говорила, — он не верит: а мне тогда много говорить не хотелось...

Нет, он ее любит, и я мирюсь с ним. Цветистый слог письма меня не удивляет и не внушает мне отвращения. Многие люди прошлого века не умели иначе писать, умирая от страсти. Именно потому, что цветистость эта не *своя*, а школьная, привычная, — я верю, что она не придумана и, зная его, слышу в ней чувство.

Я знал и других греков, которые, как он, просты на словах, но на бумаге изысканы, сами того не замечая. Это могло зависеть от учителя; а он учился где попало. Мы, русские нашего времени, тоже не умеем говорить просто и впадаем в другую крайность: без

юмористического крючкотворства ни строки! У другого и улыбки на лице никогда не бывает; сел писать и не слышит, что каждое слово его гримаса, и на читателя, вместо смеха, нападает тоска. Я сам так писал письма к той, которую любил когда-то... Что за ядовитые отступления! Сколько оговорок! Какие глупые насмешки над благородным романтизмом!

Однако, несмотря на все это зловоние гоголевских обносков, я был влюблен до безумия.

Я верю, что он любит ее; но что делать теперь? Писать ему или нет?

30-го апреля 1856.

Лиза ответила ему; но звать его сюда еще не хочет. Она хочет победить свою тоску. Хочет жить по-прежнему. Не будет этого!

Мая 20-го.

Напрасные попытки забыть его! Страсть не совершила полного своего круга. Ни кошка, ни лошади не занимают ее. Напрасные усилия! Все стало мрачно у нас в доме.

20-го октября 1856.

Целый месяц мы ездили по Крыму, смотрели новые места... Я старался всеми силами развлечь ее. И все напрасно! А сколько любопытного мы видели с ней! Видели белые безмолвные обломки большого города на холмах и языки синих бухт, которые входят в пустынные берега погибшей крепости; видели французские бараки над русскими развалинами; входили на Малахов курган: видели картечь, вбитую в землю, как горох на току после молотбы; вывески: «Bazar de la Gloire!»; на северной стороне просыпается жизнь: трактиры, жилище в бараках, толпятся женщины в платочках, пляшут и поют матросы. Смотрели землянки сардинского лагеря с кирпичными печами и голубым домиком главного штаба; кругом сотни старых деревянных острых башмаков, изломанные жестянки от сардинок. У дороги мы нашли грядку ископанной земли и лежащий большой белый каменный крест на конце грядки, с надписью, которая нас тронула: «Ici reposent des soldats français».

В Чоргуне кормили лошадей и ночевали. На покинутой батарее растут садовые цветы. Деревня в зеленой сочной долинке, а кругом лесистые холмы; татары распластывают кучи жестяных банок, на которых еще видно: «boeuf bouilli, 16 rations», и обивают ими крыши; отели в деревянных стенах оклеивают листами «Times». Черноглазый мальчик принес нам на блюдечке разные сухари.

— Все тут были! — сказал отец, — это хлеб сардинский, а это турецкий, а это энглэз, а это француз. И козах был; все были!..

В Бахчисарае мы слушали, как журчит фонтан Марии; ходили по звонким комнатам дворца, любовались на пестрые стены. Ездили на Судаг, спускались с огнем в огромную пещеру: ее дно усеяно костями. Когда-то давно здесь множество народа было задушено дымом костров, которые враг разложил у входа. Морской берег у горной

деревни Коктебель славится красивыми разноцветными камешками, и многие собирают их. Лиза хотела давно туда съездить; мы пошли одни и долго собирали у моря; собрали, но она забыла их на первом ночлеге! «Ей уже и дом не мил, и нести она в него ничего не хочет!..» — подумал я; но ни эти забытые камешки, ни равнодушие, с которым она смотрела на красноречивые остатки великой борьбы, не поразили меня так, как одно ее слово у камина в доме старого приятеля, муллы Османа. Мы ночевали у него. Прекраснее этой деревни, похороненной в ущелье и в лесу огромных деревьев грецкого ореха, трудно вообразить... Старик и старуха угощали нас как своих детей. Почтенные люди! Он в чалме, седая борода до пояса; веселый, ласковый; она построже, погордее; черты нежные, бледна как воск, одета в маленькую длинную шубку, а покрывало, чистое и белое, подколono и прибрано вокруг лица с замечательной заботливостью. В здешних горах уже холодно под вечер. Мы сели у широкого камина на подушках, и Лиза сама стала варить кофе. Я говорил с Османом; рассказывал ему о войне; которая до них не доходила, а глаза мои и мысли не могли оторваться от нее. Как она наклонялась к огню, как падала через плечо на грудь черная коса ее, как она держала кофейник — все мне хотелось видеть сто раз, и каждый взгляд терзал мое сердце жалостью... Отцветает невидимкой, бедная, горная травка! В сакле становилось все темнее и темнее; Осман вышел, а старушка молча гремела самопрялкой.

— Чем у них дурно? — сказала Лиза, осматривая комнату, — на полу сукно; сундуки хорошие, шкапчики и полочки, все выкрашено зелеными и красными фигурами. Полотенца по стенам висят золотом шитые... Сколько подушек разных... можно здесь жить.

Я хотел было спросить: «да; но не со мной, а с ним», но удержался. Между тем старушка приблизилась к нам и, разговаривая, удивлялась, отчего у нас нет до сих пор детей!

— У нас, — продолжала она, — родилось девять в этой комнате. Трое умерло, а другие живут и своих детей имеют. Эта комната счастливая. Переночуешь у нас, Аанум (обратилась она к Лизе), и будешь беременна.

Мы долго еще молча сидели одни у камина, и Лиза, наконец, первая прервала молчание:

— В самом деле, как это дурно, что у нас нет детей! — сказала она.

— Тем лучше, — отвечал я, — дольше будешь молода.

— На что мне молодость? Вот ее ответ!

Могу ли я после этого не требовать, чтобы она звала его сюда?

Ноябрь 1-го.

Написали ему письма. Лиза своего мне не показала, и я, конечно, не просил посмотреть. Что касается до меня, то я всеми силами старался убедить его, чтобы он забыл обо мне, как о муже, и видел бы во мне только старшего брата ее и неизменного своего друга.

Ноября 5-го.

Отправили. Что-то будет!

Декабря 1856.

Лиза сначала стыдилась немного показывать свою радость и свое беспокойство; но не может более скрывать.

Спрашивает, сколько времени пойдут наши письма, не тонут ли пароходы в это время года. Вечером сна нет; утром встает до света; ко мне стала еще внимательнее, ласковее прежнего; чаще стала играть на рояле. Повторяет забытые греческие песни; лицом еще бледна, но глаза помолодели и сверкают.

Декабря 26-го.

Получили ответ. Он будет скоро. Что за радость! Она уже не владеет собой... Прыгала, плакала, ноги мои обнимала... И я был как безумный; не мог более сносить волнения и ушел на горы один.

Меня радовало, что она ни разу не сказала: «простите!», как говорила иногда прежде.

На горе я нашел глубокий снег, и влажные летом леса стояли теперь, как на родине моей, немые и без листьев; у ног моих, далеко внизу, вилась дорога; за ней зеленели сады, стесненные у моря, и дом наш, чуть видный у берега, белел и блистал на холодном солнце. Море отсюда казалось еще бесконечнее.

Есть монастырь далеко отсюда, на горах; там всего семь или восемь монахов; они сами работают в огороде; красные скалы, над которыми виден его крест, — татары зовут Кизиль-Таш. Каждое лето с гужом идут туда толпы на богомолье, а потом опять ни души чужой.

Не скрыться ли мне туда, а им двоим оставить все мое имение? Пусть сперва поживут в исступлении полного блаженства, а потом тихо, как честные и дружные супруги.

Января 2-го, 1857

Лиза не отходит от окна и все смотрит на море. Два раза мы ездили в город встречать пароход... Она опять начинает тосковать. Опять плакала на кровати. И вчера сказала: «Что же это такое будет? Все только и думаю: как он смеялся, каким голосом говорил! И все мне кажется, что я не так помню... что и голос, и лицо, и смех у него не тот...»

Января 19-го.

Наконец! Вчера приехал... С утра море было бурно, и мы издали видели, как качало пароход от носа к корме и от кормы к носу.

Мы оделись тепло, потому что на шоссе падал снег и дул холодный ветер, и пошли пешком часа через три после того, как показался пароход. Я хотел отпустить Лизу одну, но она сама пригласила меня.

Дорогой она была очень бледна и не раз останавливалась, чтобы перевести дух.

Мы прошли версты четыре не без труда, все в гору и против ветра; она хотела идти дальше, но я не согласился, и мы присели отдохнуть на ступенях одной из тех маленьких и чистых казарм, в которых живут солдаты для присмотра за шоссе... Сидели долго; Лиза не сводила глаз с дороги... Вдруг видим, скачет кто-то на татарской лошади, и сзади тоже верхом едва поспевает татарин с чемоданом в руках.

Мы отошли за поворот дороги, чтобы солдаты не видали нашей встречи. Один миг еще — и он доскакал.

Как он обнял меня! Как он был рад! Как он у нее целовал руку! как хохотал!

Мы взяли его с обеих сторон под руки и спустились вниз. Надо было согреть его, накормить, хотели дать ему отдохнуть, но он ни за что!..

Прошел обед веселый, при огнях, и вечер пролетел далеко за полночь.

Расспросы, рассказы, смех, его восторг открытый, ее полусмущенное блаженство.

Возможно ли мешать им?

О Боже! Ты, который видишь сердца наши, «прав я или нет?»

Прав или нет, не знаю; но я счастлив, и долгое прошедшее мое мне уже не кажется бесплодным. И в нем я вижу тысячу встреч, мыслей, причин и впечатлений, которые привели меня к уменью жить так, как я живу.

Что за вечер! Что за длинный, что за дивный вечер... Что за счастье видеть их вместе!

Море ревело к ночи все страшнее и страшнее; стекла наши дрожали от ветра. Сегодня утром я увидел, что за ночь волна кой-где подняла стоямя большие каменные глыбы, а другие зарыла в песок. Весь ряд молодых деревьев, которые Лиза посадила довольно далеко от берега, сломан и смыт. Морская трава и мелкие раковины летели с пеной до цветника. А у нас пылал камин в гостиной, ковер пестрый и густой как бархат, казалось, был еще богаче, и лампа мирно горела на столе.

Лиза сидела с ногами на диване, и незнакомое мне теплое сияние озаряло каждую черту ее лица. Он то расспрашивал нас обо всем, о моих занятиях, о пении Лизы, о Христинье, о кошечке, о лошадях наших, то рассказывал нам, как переезд по Черному морю был труден. Пароход невелик, и его с одной стороны беспрестанно заливало волной. Вода в одну минуту мерзла; пароход от тяжести льда на одном боку мог пойти ко дну, и только тем и спасались, что матросы окоченелыми руками рубили этот лед.

— Я прежде не боялся моря и не думал, — заметил Маврогени, — а в этот раз мне было очень страшно! Я и теперь не верю, что я у вас...

Наконец простились. Когда я остался опять один, еще раз мелькнуло какое-то сомнение... Но я сказал себе: «Зачем я буду гнать от себя чувство, которое ощущаю? Что же делать, если я рад их счастью?»

Через два дня.

Лиза поет с утра в зале, и все веселые песни и танцы. Она опять прежняя Лиза, но с высшим значением! Море утихло; тепло так, что мы окна открыли. Они ездили долго верхом, а я сводил счеты за прошлый месяц. Хотел пойти далеко гулять; но без них долго быть скучно; вернулся и застал их за картами.

Через месяц.

Маврогени начинает немного читать по-русски. Лиза его учит сама; мне азбука показалась скучной; я после с ним займусь. Он думает выучиться по-русски и поступить где-нибудь здесь на службу. Посмотрим. Говорят, скоро откроется место смотрителя при одном из дворцов. Конечно, для нас он будет не смотритель, а Яни Маврогени в одежде албанского волонтера!

Еще через полтора месяца.

Вот этого я никак не ожидал! Сегодня утром я позвал к себе Лизу, чтобы вместе с ней составить записку о том, что нам нужно из города. Я был в большом кресле перед столом, а она села на ручку кресел, и я, чтоб ей было ловчее, обнял ее, и мы вместе считали.

Вдруг отворилась дверь, и он вошел. Вошел и вышел. Выходим и мы. Где он? Говорят, оседлал себе лошадь и уехал в Ялту.

Лиза с большим смущением объяснила мне, что он ревнует и беспрестанно ей твердит: «Никогда не поверю, чтобы ты в мужа не была влюблена! Его нельзя не любить! И я его люблю, а ты влюблена в него!»

Я и сам замечал раза два, что он не в духе; но подумал, что без таких минут никто не проживает, и молчал, и не расспрашивал.

Это странно! Есть, наконец, мера на все! Послал за ним и написал ему самое строгое письмо. Между прочим, сказал ему: «Ты не стоишь уважения, если не умеешь верить такой женщине, как Лиза. Если она говорит тебе: „он мне не муж, а друг“, как смеешь ты не верить? Разве

она из тех прелестниц, с которыми ты вместе, в Италии или где-нибудь еще, обманывал влюбленных стариков или строгих мужей? У нее душа суровая, страстная и прямая. И если ты этого не понимаешь, то склад ума твоего самый презренный».

В самом деле, выдумал что! Не бежать же мне отсюда!

Марта 5-го.

Возвратился и раскаялся. Не знаю, что было между ними, но со мной он объяснялся долго.

— Послушай! — сказал я ему с досадой, — нет трудного положения, в котором характеры благородные и добродушные не могли бы честно ужиться. Что естественнее всеми принятых отношений мужа и жены, брата и сестры, родителей и детей?.. А разве эти отношения не извращаются беспрестанно дурными натурами этих лиц? И если б мы еще могли всегда найти большую разницу в политических, религиозных мнениях и т. п...

Чаще и этого нет! Я не спорю, наше положение странно; но от нас зависит сделать его счастливым... Вбей себе только в голову, что она меня уважает, а влюблена в тебя...

— Как этому поверить, — сказал Маврогени, — что она не влюблена в вас! Вы с ней так кротки, вы так образованы... я сам каждый день умнею от разговоров с вами... И за что вы так добры ко мне? Что я перед вами?..

— У тебя много качеств, которых у меня никогда не было, — отвечал я и объяснил ему, как я смотрю на счастье и на развитие любимого существа и почему я добр к нему, а не был бы добр к другому, который унижал бы Лизу своей прозаической близостью; сказал ему, как я люблю, чтобы молодость не пролетала даром; растолковал также, что я старался бы всеми силами, советами, удалением излечить Лизу от дурно направленной страсти, и если бы она не вняла моим увещаниям, я бы скрывался от нее с тоской, с отчаянием, но и тогда мешать не стал бы свободному чувству. А его я и сам люблю и нахожу вполне достойным Лизы, несмотря на кой-какие ошибки и на беспутное его воспитание. Надеюсь, что он понял.

Мая 2-го.

Нет, он неисправим! Разорвал себе жилет; ходит как убитый.

Когда мне было 22 года, и я был влюблен в Зинаиду К... Я помню, как меня тоже душило платье в минуту ревности; я убежал с танцевального вечера, не спал всю ночь, курил и затягивался насильно до тех пор, пока кровь показалась горлом; хотел стреляться с соперником; написал ей ночью письмо до такой степени пылкое и грустное, что она сама на другой день бросилась ко мне в объятия... И отчего вся эта буря? Оттого, что она на вечере была в черном платье, с голубыми бантами на голове; оттого, что нежная бледность ее в этот вечер доводила меня до безумия; оттого, что она, любя меня от всей души, захотела немного только повеселиться с Т..., улыбалась, смотрела ему пристально в глаза, то подавала ему конфекту, то не давала, то опять подавала. А он ей говорил:

— Такое-то у вас сердце? Такое-то?

Если я, «больной сын больного века», русский студент, переживал такие бури, так что же он должен чувствовать?

Ревность — чувство благородное, если она сильна, бурна и нестерпима.

Лиза в негодовании на него. Во время прогулки, назло ему, взяла меня под руку, зовет его в глаза мальчишкой; сказала:

— Довольно дурачиться! Пусть убирается, куда хочет! Поцеловала меня три раза сряду при нем против моего желания. Глядит ему прямо в глаза; довела его до того, что он вчера в темном коридоре схватил ее за руку выше локтя с такой силой и злостью, что у нее синие пятна остались.

Не надо бы мешаться... Однако я призвал его и сказал ему:

— Стреляться я с тобой не стану. Во-первых, я тебя самого очень люблю; а потом я не хочу, чтобы она еще страдала: ей и меня, и тебя будет жаль. Но я тебя попрошу уехать, если ты будешь так тревожить ее.

— Хорошо! — отвечал он с жаром, — я делить с другим женщину не могу. Я когда люблю или пока люблю — хочу быть деспотом, царем. Захочу — прибую, убью ее, и тогда пусть меня никто не смеет судить! Утешу после, но утешу я, а не кто другой! И если она сама меня страстно любит, она не должна считать это унижением, а стать на колени и целовать руку, которая ее бьет... Вот как я люблю! А если не я один ей царь, так я уеду и ее увезу с собой!

— А! если так, — сказал я, — увидим! Увезти тебе, безумному, ее не дадут. И я буду деспотом, и она скорее покорится мне, чем тебе...

Он побледнел, не отвечал и уехал в Ялту, чтобы опять там ждать парохода целую неделю, а я тотчас же к ней...

Мы долго говорили. Куда пропала ее сила! Пока он был здесь, она до грубости строго обращалась с ним дней пять сряду; но с тех пор, как он уехал — она упала духом.

Через неделю.

Ужасное мученье! Что за ужасная неделя! Вчера вышли к обеду и ничего не ели; я закрыл лицо руками и молча ждал конца — она не дождалась и ушла. Глаза ее мутны... Но отпустить ее с ним я не в силах!

15-го мая.

Он еще здесь. Прислал ей письмо; умоляет ехать с ним. Она говорит — ни за что меня не оставит и твердит: «довольно шалостей!»

17-го мая.

Исхудала в эту неделю; не ест, не спит. Я вижу, она хочет ехать и жалеет меня...

Не дать ли ей допить чашу до дна?

21-го мая.

Долго умолял я ее сказать правду. Говорил о недоконченных чувствах; признавался ей, что легкомыслие его и молодость меня утешают в том смысле, что, быть может, они скоро утолят друг друга, и она, спокойная, с радостью воротится ко мне. Они только и ждали моего одобрения! А я чуть не упал в обморок, когда она спросила у меня:

— Я поеду; а вы-то? как вы-то вытерпите без меня?

Послали за ним.

22-го мая.

Едва не упал мне в ноги, обнял мои колени: «Она мое сокровище! Я ее буду беречь! Верьте мне! Не бойтесь! Дайте мне хоть год, хоть месяц прожить с ней наедине и

тогда возьмите ее хоть силой... Я вас обоих вместе видеть не буду. Простите мне! Я буду служить ей как раб... Простите мне!»

Я думаю, он поцаловал бы мою руку, если бы стыд не удерживал его.

Слава Богу — море теперь тихое, не зимнее. Об одном буду молить ее, чтобы она сохранила себя для меня, если он изменит ей, если он разлюбит ее. Этой жертвы я требую во что бы то ни стало! Пусть приедет больная, обезображенная, жолчная, слепая, но лишь бы вернулась!

27-го мая.

Проводил ее до города. На пароход не пошел. (Он вне себя от радости и ехал заранее с вещами.) Мы вышли у Ливадии из коляски, и я в последний раз обнял ее. Она не плакала. Я сказал ей: «Больше отживешь, и мы будем ровнее; не бойся — годов тихих еще много впереди».

28-го мая.

Что писать? Долго вчера видел я, как быстро шел их пароход к Балаклаве. Как ни мчали мои лошади, но мы еще не сделали и половины дороги, а он уже пропал из виду...

1-го июля.

Писать нечего. Все тошно, все пусто! Христинья ходит печальная. «Где наше солнышко?» — сказал я вчера, а она зарыдала. — О, Лиза, Лиза, где ты?

15-го июля.

Пишет. Во всех словах видны боль и угрызения. К чему это? Надо ее утешить и опять повторять, чтобы она была веселее и только берегла бы для меня свое существование.

7-го апреля.

Еще письмо, и длинное, из Венеции. Веселее первого. Она пишет гораздо лучше, чем говорит, и сделала большие успехи в этот год. Цаловал письмо и обливал его слезами, о которых она не узнает!

Одного молю, чтобы ее медовый месяц был без горечи и отравы, и еще об одном... чтобы он поскорей ее разлюбил!

Сентябрь.

Ездил один в горы, в Керчь, в степное имение.

Последнее письмо опять из Венеции. Она пишет мало, но я чувствую, что она веселится, ездит в гондолах. Меня бы это уж не заняло. Какое дело мне до Венеции, до древности, до всего мира, когда Лизы нет со мной!

Октябрь.

Письмо Лизы к мужу из Рима.

«Я было совсем уехала к вам. Он вздумал меня дразнить и ухаживать за другими. Я удивляюсь, как это вы не ревнуете! Это ужасное мученье! Здесь много недурных девиц и дам, и простые на улицах прекрасные. Особенно хороши англичанки, такие они нежные; мне перед ними все кажется, что я груба. Прежде я не смотрела на свои руки, а здесь все смотрю и прячу их. Извините, что я пишу вам такой вздор, мой друг, мой милый друг! Пишу — что пишется. Знаете ли что? вы не поверите — он иногда утомляет меня. При вас у него было больше охоты заниматься; а здесь что-нибудь одно — или веселится, или дома сидит и скучает. Недавно сказал мне: „О чем мне с тобой говорить? Обо всем уж говорили!“ Я вижу, все-таки, что он меня любит, как прежде. Уйдет на минуту — опять поскорей ко мне домой. Попробует говорить с другой, в любви ей объяснится, а на другой день, если волю ему дашь, терпишь молча — он не отходит от меня. А я слаба! очень слаба. Я не знаю, где вы во мне видели твердость. Иногда я за ветреность его или за лень и за беззаботность выхожу из себя; а он улыбается, за руку меня возьмет — я все и простила. Одно я люблю в нем всегда — это то, что он и не старается казаться лучше, чем есть, а какой есть, так и показывает. Скажу ему: „зачем ты себя не принудишь в чем-нибудь?“ Один ответ: „А если мне скучно принуждать себя?“ Я еще люблю его, по правде сказать, от всей души и недавно чуть не умерла от страха, когда ему пришлось драться на шпагах с одним итальянцем. Из-за пустого поспорили: тот назвал его фанариотом, а он его по лицу ударил. От дуэли я удерживать его не стала (настолько у меня есть характера, чтобы дорожить самолюбием любимого человека). Но уж зато денек это был, мой друг! Слава Богу, он ранил итальянца; проколол ему шпагой всю руку от кисти до локтя. После этого так нам обоим было весело; целую неделю все вдвоем гуляли и за город ездили. Прощайте, милый друг, отец мой и друг, которого мне Бог послал. Отслужите за меня панихиду на могиле матушки, поцелуйте Христинью и помолитесь за вашу неблагодарную, низкую и слабую Лизу».

10-го ноября.

Вот уже полгода, как ее нет! В рабочем столике с места не сдвинулась ни одна мелочь. Я сам сметаю пыль со всех ее вещей, сам объезжаю ее лошадь. О, моя дочь! о, моя Лиза! Ты уже не приносишь мне сама на балкон поутру кофе с суровым взглядом и улыбкой! Где ты? Что думаешь? Что чувствуешь? Как ходишь? Как сидишь? Где ты? Где ты? Если бы ты знала, какую сладкую благодать, какой волшебный напиток я пью, когда гуляю один около полукруга кипарисов, за которыми скрыта миртовая дорожка к гробу нашей матери, и шепчу сто раз твое имя: Лиза! Лиза! дочь моя! моя Лиза! Письма твои кратки, как бывали кратки твои речи, но я всякому слову в них знаю цену!

Нужен ли я тебе — ты не пишешь; жалко ли меня — ясно не говоришь; боишься обидеть? О, жалею, жалею меня! Не бойся обидеть: горечь сострадания в твоих руках для меня будет рай! Еще раз повторяю, еще раз напишу твое имя: «Лиза моя, Лиза, Лиза!»

Письмо мужа к жене (от того же числа).

«Не бойся философии, мой друг: она невидимая основа жизни. Каждый из нас, каждый человек, каждый простолюдин — философ, сам того не зная. Я тебе повторю еще раз: не покидай его, пока не захочется; меня не жалею; даю тебе честное слово — я счастлив тем, что случай, встреча с ним спасла твою молодость, обогатила не только внутренний мир твоей, моей и его души новыми ощущениями и силами, но обогатила и внешний мир рядом таких прекрасных явлений, как ваша встреча, ваша и бурная, и веселая любовь, ваше, редкое в подобных случаях, уважение ко мне, ваши странствия и т. п.

Знай это все про себя; знай, что ты прекрасна, а я счастлив и горжусь тобой, как гордились спартанки храбрыми сыновьями, как гордятся наши матери службой своих детей, как гордятся наставники блестящими делами и умом учеников.

Повторяю, что я хочу тебя видеть только тогда, когда ты с радостью оставишь его. Если же ваша любовь навек, то упроси его вернуться сюда с тобой и взять себе все мое имение; а я пойду в монахи и только раз в месяц буду навещать вас. Он знает, что я сдержу слово.

Прощай, пожми его руку за меня.

Твой друг К...»

Декабря 6-го.

Вот уже больше трех недель нет слухов! Как дни идут медленно! А ночью нет сна...

Декабря 21-го.

Письмо Лизы к мужу из Палермо.

«Нет сил без вас и без всего нашего. Все мне здесь чужое. Что хорошего в этих лимонных и померанцевых деревьях! Точно они нарочно сделаны в магазине! То ли дело наши сосны на горах и орешник! Он умоляет меня остаться. Вчера умолял, умолял. Я дала ему еще слово на два месяца. Мы поедем в Афины и в Египет, а оттуда я скоро уеду в Одессу. До свиданья, мой друг!»

Января 17-го 1858.

Письмо Лизы к мужу из Александрии.

«Я не дождалась вашего ответа. Я скоро буду. Я не виню его; я знаю, что у него такой характер — ревнивый и ветреный. Здесь есть теперь цирк, и он все ночи проводит у одной француженки. А мне никогда не давал шага сделать от ревности. Я готова была

сносить его бешенство, пока он был верен. А теперь я утомилась; я хочу вас видеть; мне страшно иногда, как будто я грех большой сделала, не тем, что я его люблю (я понимаю теперь вашу философию), а тем, что вы одни, что к матушке на могилу я не хожу, что все родное бросила!

Видите, я прежде вам не все писала, чтобы вас не огорчить, да и стыдно было; а теперь уж все скажу. Раз я встретила молодого русского моряка, познакомилась с ним, обрадовалась русскому, говорила с ним долго, вечером по саду ходила под руку; а на другой день этот моряк прислал мне букет. Вечером Маврогени пришел домой, выбросил букет из окна, а меня схватил за волосы обеими руками и бил головой об стену. Я читала и слыхала о достоинстве женщин; только как ни старалась об этом вспомнить, не могла притворяться. Скажу даже (ради Бога, сожгите вы это письмо) — мне было что-то хорошо; очень было больно, но я не плакала и молча терпела и (не огорчайтесь же, Боже мой!) целовала не только руки, ноги его целовала после этого. А он, он был как безумный от любви. Да, тогда он меня одну любил душою; шутил с другими, иногда дразнил меня, но он был верен. И тогда, если бы он всю кожу на руках изрезал бы мне ножом (как один простой римлянин сделал это с женой недавно), мне было бы это приятно! А теперь нет. Если бы вы видели, что за манеры у этой француженки! Худая, смелая такая! Вот убить-то не жалко такую тварь! А он наслаждается! Я не виню его и помню ваши слова — беречь себя для вас. О! зачем, зачем он себя так унизил! Ну, Бог с ним, довольно! Я чувствую в себе больше сил против прошлогоднего; я хочу домой, к вам, мой друг! Он опять просит остаться; бросил ее, как узнал, что я еду; но я не уступлю. Не хочу даже, чтобы он провожал меня до Одессы; я боюсь, что от Одессы и до Ялты он не расстанется со мной. Из Константинополя уеду одна потихоньку от него. Одно средство! До свиданья. Скоро я отдохну с вами, мой добрый друг! Увижу и Христинью, и могилку... Благословите меня на дорогу.

Ваша Лиза»...

Января 18-го.

Я без ума от радости! Только одно меня тревожит — море дурно. Вчера разбилось одно судно; люди едва спаслись, двое утонули. Впрочем, пароход не парусное судно. Еще бы месяц не напиши она, что едет, и я сам бы полетел за ней.

Января 19-го.

Велел Христинье помолиться у обедни за Лизу; что моя нерешительная молитва!

И вдруг, через две-три недели — она здесь! Опять здесь; одна со мной; усталая, с перегоревшим сердцем, она рвется к отдыху и забвению. О, радость! о, жизнь моя! Как я тебя обниму! Каким благодарным рабом я поцелую следы твоих ног на песке, на том самом песке, который стал и живет и новее с тех пор, как твоя скромная мать спустилась с тобой с горы и сказала мне: «Вот вам моя Лиза!»

30-го марта.

Вот уже около двух месяцев нет слухов. Все смотрю на море. Когда пароход идет, я рвусь на лошадь и скачу в город. Нет моей Лизы!

5-го апреля.

Еще один пароход, а ее нет, и нет писем. Напишу к Г-и в Одессу; не знает ли он чего: он имеет дела и в Турции и в Египте.

29-го апреля.

Ответ одесского купца Г-и мужу Лизы.

«Как ни больно мне быть печальным вестником, однако, что же делать! Я удивляюсь, как вы не прочли в газетах о гибели турецкого парохода «Багдад» в Средиземном море. Родной мой племянник был на нем и спасся благодаря своему уменью плавать и еще благодаря просьбам одного поляка (как вы увидите дальше). Лизавета Иосифовна погибла и г. Маврогени тоже. Простите! Чем же я виноват, что должен, наконец, написать эти строки? Племянник мой с большим удивлением увидал вашу супругу на этом турецком пароходе, который шел из Александрии в Константинополь. Он говорил с Лизаветой Иосифовной и нашел ее очень похудевшею, но веселою. Ехали двое суток, как вдруг, по незнанию или небрежности капитана, машина остановилась, и в то же время открылась течь. Турецкие матросы не хотели качать воду, заставили пассажиров и, пользуясь смятением, крали вещи. Капитан был пьян. Племянник мой говорит, что супруга ваша, сняв шаль и шляпку, работала лучше многих мужчин; г. Маврогени также обнаружил много энергии. Стреляли из пушек, требуя помощи. Наконец показался один египетский корабль. Увидев, в чем дело, египетский капитан потребовал себе 300 000 пиастров (около 48 000 р.) за спасение пассажиров и экипажа. Он полагал, что на пароходе много богатых неготиантов. Пока спорили, собирали деньги, плакали, кричали, пароход стал тонуть. Капитан корабля послал небольшую шлюпку, чтобы взять гарем одного паши; с этими турчанками спаслась, по их настояниям, жена одного здешнего купца; кроме нее и турчанок спаслись еще двое: мой племянник и один, как я сказывал, молодой польский эмигрант. Последний доплыл до корабля, влез туда и упал к ногам капитана, умоляя спасти моего племянника, с которым он подружился дорогой. И его взяли на шлюпку. Племянник мой говорит, что, бросаясь в море, он как во сне видел мельком вашу несчастную супругу. Она стояла у борта и, кажется, разрывала на себе платье, чтобы тоже плыть. Корабль быстро ушел, и все остальные погибли: пьяный капитан турецкий, матросы, множество пассажиров. Нет сомнения, что и г. Маврогени утонул. Вице-король приказал отрубить голову египетскому капитану.

Еще раз выразив вам мое глубокое сожаление о потере, которую вы понесли, имею честь быть с глубоким почтением, милостивый государь,

Ваш покорный слуга Г-и.

(ПОСЛЕДНИЕ ЛИСТКИ ИСПОВЕДИ)

3-го сентября 1858.

Уж осень. На горах опять похоже на Россию. Не гуляется, и не сидится, и не спится!

5 сентября.

Удивляюсь, почему люди стреляются всегда в голову. Гораздо покойнее прямо в сердце. И не так страшно... Пожал пружинку — и все кончено. Я думаю, выстрела не слышно самому.

10-го сентября.

Что мне говорит совесть? Что мне говорит могила матери, которая вручила мне свою дочь? Ничего! Она была прекрасна, и она жила. Она не упала, и она наслаждалась. Не таковы ли две великие и редко совместимые задачи жизни? Я прав. Смерть ее была случайна. Я исполнил мой долг против твоей дочери, бедная мать... Да, я сто раз прав... Но *мне* — *мне-то* что же делать? Я-то разве не погиб до тла? О! если бы, по крайней мере, могила нашей Лизы была здесь, около твоей могилы, родная мать! я бы сидел на скамье с утра до ночи там и рыдал бы над вами. А теперь на что я? Что я? Зачем я? Не она погибла — я, я погиб без нее. Прошел бы год и два, я бы ждал, и она бы вернулась. Может быть, даже она вернулась бы матерью, и я бы обожал их ребенка.

Разве их дитя могло быть бездарно или ничтожно, или некрасиво? На эту пышную почву я бы посеял свои поздние семена, и то, что во мне было только цветистыми мыслями, в их роскошном ребенке стало бы кровью и делом с ранних лет. Я подарил бы миру прекрасную душу и слышал бы голос Лизы, ее пение, видел бы ее улыбку, упивался бы ее радостью на мою любовь к ее ребенку...

О Лиза! Где ты? Где твои руки, твои глаза, твой голос? О, Лиза, дочь, отрада моя, ненаглядная! Лиза, Лиза моя! О, мое сокровище!

* Впервые: Отечественные записки. 1867. Т. CLXXIII. Кн. 7. С. 219-272. Под заглавием "Ай-Бурун". Здесь по: ПССиП, Т. 2. СПб., 2000. С. 328-398.